

ЕЛЕНА КАСЬЯН



ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ

Елена Касьян

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ

Львов



2010

ББК 84.Р7
УДК 821.161.2
К 28

К 28 Касьян Елена

До запитання, вірші. – Львів: Ахілл, 2010. – 128 с.
ISBN 978-966-357-015-6

У цій книзі лише один головний герой, і вам здаватиметься, що це саме ви: з вами теж таке було, коли сльози і важко дихати – і ні про що не шкодуєш. І робиш чергову спробу зрозуміти себе і прийняти інших у цьому незбагненному дорослому житті.

Елена Касьян ніби читає таємні написи на зворотній стороні своєї шкіри. І боязко за неї (за себе), з її відкритим і таким вразливим серцем. Це послання у реальність, де не буває колишньої любові, де усе, що відбувається в житті, стає скелетом людини і наростає на ньому тілом і шкірою.

ББК 84.Р7
УДК 821.161.2

К 28 Касьян Елена

До востребования, стихи. – Львов: Ахилл, 2010. – 128 с.
ISBN 978-966-357-015-6

В этой книге только один главный герой, и вам будет казаться, что это именно вы: с вами тоже такое было, когда слезы и трудно дышать – и ни о чем не жалеешь. И делаешь очередную попытку понять себя и принять других в этой непостижимой взрослой жизни.

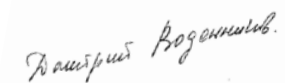
Елена Касьян словно читает письма на внутренней стороне своей кожи. И страшно за нее (за себя), с ее открытым и таким уязвимым сердцем. Это послания в ту реальность, где не бывает прошлой любви, где все, что происходит в жизни, становится скелетом человека и нарастает на него плотью и кожей.

ББК 84.Р7
УДК 821.161.2

© Касьян Елена, 2010
© Евгений Иванов (Eugene Ivanov),
рисунок обложки, иллюстрации, 2010
© Юрий Бирюков, фото, 2010
© Ахилл, оформление, 2010

Собственно говоря, это есть настоящая поэзия: болезненный, пульсирующий, наливной шар, который ты держишь в ладонях где-то в районе солнечного сплетения – и четкое осознание, какое геройство или мерзость ты совершил. Ну или почти совершил.

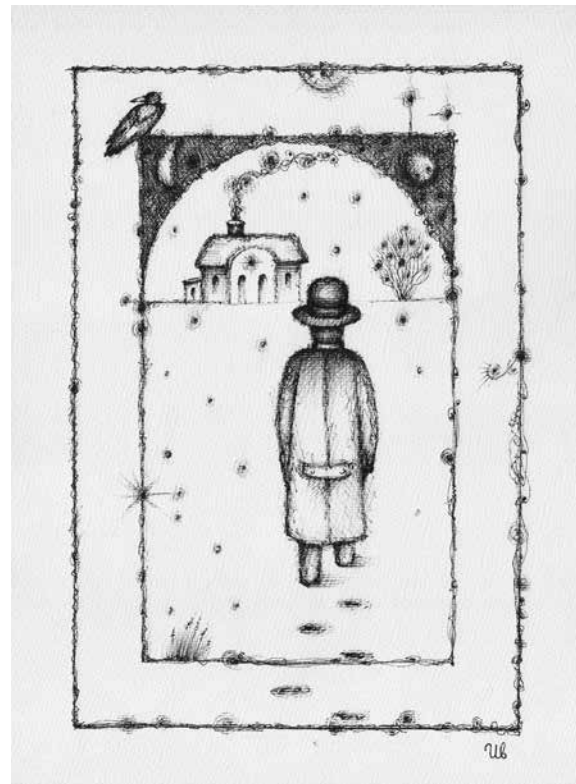
Возьмите этот шар в руки. Это только в начале – кажется страшно. А потом ничего – привыкаешь.



Евгений Иванов

ISBN 978-966-357-015-6

ПРОЩАЛЬНЫЕ ПИСЬМА





Ведь казалось, что всё преодолимо, всё достигаемо... и обратимо уж точно!

Когда-то давно, когда счёт ещё не шёл на месяцы и годы, а на какие-то невероятные вечности, бессмертия, столетия, как минимум, сомнений не возникало во всемогуществе зрелости, в способности по-взрослому выйти с миром тет-а-тет. Выйти и пойти, и взмыть, и обогнуть, легко ложась на крыло.

Разбегались с красной строки – по сто раз, без усталости, взлетали с конца абзаца... Сколько дурной радости было и безжалостного азарта. Набивали карманы ерундой, забывали головы «важным».

Что осталось в тех головах? Что задержалось в карманах?..

Навык бесстрашно падать в объятия – напрочь потерян. Атлас собственной кожи испещрён чужими маршрутами, как письменами. И носишь эти ненужные знания, не в силах ни смыть килограммами мыла, ни стереть километрами наждака.

Но иной раз чей-то случайно брошенный взгляд отворит в тебе самую душу, самую мякоть, сердцевину. Стоишь, хватаешь ртом воздух, погибаешь от смешной беспричинной нежности...

Может, не носить её в себе? Может, взять, к примеру, сесть и написать письмо человеку?

Здравствуй, человек, я скучаю.

Ты снишься мне, человек! У меня к тебе нежность...

Ты удивительный, ты прекрасный... человек, как же сказать?

У меня никого нет, кроме тебя, понимаешь?

Почему люди созданы не друг для друга, а для кого-то другого?..

Выйти на улицу, отдать первому встречному. И больше не искать никого глазами.



Юзек просыпается среди ночи,
хватает её за руку, тяжело дышит:
– Мне привиделось страшное, я так за тебя испугался...
Магда спит, как младенец, улыбается во сне, не слышит.
Он целует её в плечо,
идёт на кухню,
щёлкает зажигалкой.

Потом возвращается, смотрит –
а постель совершенно пустая.
– Что за чёрт? – думает Юзек. – Куда она могла деться?..
«Магда умерла,
Магды давно уже нет», – вдруг вспоминает,
И так и стоит в дверях,
поражённый, с бьющимся сердцем...

Магде жарко, и что-то давит на грудь,
она садится в постели.
– Юзек, я открою окно, ладно? – шепчет ему на ушко,
Гладит по голове, касается пальцами нежно, еле-еле,
Идёт на кухню,
пьёт воду,
возвращается с кружкой.

– Хочешь пить? – а никого уже нет,
никто уже не отвечает.
«Он же умер давно!» – Магда на пол садится
и воет белугой.

Пятый год их оградки шиповник и плющ увивает.
А они до сих пор
всё снятся и снятся
друг другу.



Не возвращайся, теперь уже больше не нужно.
Печаль не применяют наружно...
В том море, что нас разделило, у нас и не было шансов.
Уже затопило надёжно подходы к вокзалам,
И если ты хочешь знать, то дело теперь за малым –
Не возвращайся.

Любовь – это орган, внутренняя часть тела,
И там, где недавно ещё болело,
Теперь пустота. Вот такие дела...
Любовь – это донорский орган, и я его отдала.
Не спрашивай, как я посмела.

Ещё нахожу твоё имя в моих дневниках и тетрадях,
Но знаешь, тебя к моей жизни никак уже не приладить.
Рубцы уже не разгладить.
Мой ангел, мой свет, моё нелегальное счастье...
Не возвращайся.



Он так долго меня покидал, что казалось порою,
будто это такая игра, на измор, на терпенье...
Первый раз он ушёл к белобрысой студентке,
папа-директор, машина, квартира, всё такое...
Дело даже не в этом, но она настолько моложе,
что он чувствовал себя ещё более взрослым,
он всё время кому-то это доказывал (комплекс, что ли?),
впрочем, это продлилось недолго... да и не длилось.

А второй раз он ушёл к завкафедрой психологии.
Она была старше чуть ли не вдвое, умница,
нянчилась с ним, повышала свою самооценку,
всё пыталась с ним подружить своих деток,
молодилась, читала ему морали, кормила,
даже мне звонила, пыталась прощупать почву...

А потом он и вовсе сорвался за кем-то в другой город,
два письма написал, называл меня просто святою...
я ждала его два бесконечных года, у окна, истуканом,
две зимы, две весны, два лета, две осени...
А зимой он приехал, обрил мне голову, подарил попугая,
на каток водил, хотел непременно жениться,
мы выращивали бонсаи, моржевали и ели коренья,
рисовали на стенах в спальне, носили шляпы...

А потом он влюбился в мою подругу-танцовщицу,
говорил, что я должна за них быть очень рада,
что любовь великодушна, а человек слаб и безволен,
что на самом деле ничего такого не случилось...

А потом он уехал в далёкую страну и потерялся.
Говорят, что живёт с молодым итальянцем на Тибре,
что готовит ему лазанью, принимает щедрые подарки,
что стал еще красивее и в целом неплохо устроен,
что кожа покрыта загаром и вообще поменял имя...

Десять лет я его любила... и пять – забывала...
И, конечно, забыла бы, похоронила, поставила точку.
Но вот вдруг, ни с того ни с сего, бывает, приснится –
и хожу, как больная, сутки... а то и двое...



Ты думал, я справлюсь. Ты проявил великодушие и выделил мне раскладушку в закурке своего сердца, где за тонкой перегородкой строил новую любовь.

И я разучилась спать совсем.

Я ходила по улице, развернув плечи, обнажив тонкую шею, прямая и напряжённая, словно проглотила саблю. Мне подворачивались дешёвые варианты съёмных предсердий, тёплых и толстостенных почек, и даже одна вполне сносная печень.

Мне было нечем дышать, меня тошнило.

Ты думал, я справлюсь.

Каждый вечер я слушала, как грохочут клапаны у меня над головой, как скрипят пружины в моей раскладушке, как пляшет чей-то смех за перегородкой.

Я пыталась перебраться в солнечное сплетение, прямо в подвздошье. Опустевший угол тут же занимали и обустроивали. Количество спальных мест всегда оставалось неизменным.

Но я справилась.

В конце концов я научилась жить везде.

Хроническая бездомность, вопреки логике, сделала меня прямоходящей.

Говорят, ты отписал мне часть площади.

Боюсь, я не сумею ею воспользоваться.



Будь, говорит, со мной, будь и не отпускай, Пусть вся эта пытка изысканная и есть наш с тобой рай, Если уж взялись дойти до края, то я рискну и за край, Только хватки не ослабляй.

Она кивает: «Глупый мой, я не держу, смотри, Просто ко мне все нити твои протянуты изнутри, Это твои печали, детский твой страх, твой стыд, Это ко мне из тебя тянется всё то, что в тебе болит».

Он говорит: «Ты космос, и я пугаюсь твоих орбит...»
А время сквозь них летит.

И кость обрастает мякотью, и в мякоть вырастает кость, Они почти одинаковые, Но только когда не врозь. Она дышит в трубку и думает: «Ты мой невроз». Но вслух говорит, что, наверное, всё идёт вкривь и вкось. И не знает, что уже срослось...

А у него воспаление сердца и плавится нервная плоть, И он до того обескоженный, что некуда уколоть. Я смогу, говорит, увидишь, я выживу без проблем, Только не отпускай меня, слышишь, и я тебе стану всем. А она думает – зачем?..



Я смотрю, как этот август медленно вплетают в нашу осень, осторожно, отдельными нитями...
Я думаю о том, где взять сил, чтобы дожить эту жизнь до самой смерти.
Чувствую, как истончается плоть, как почти звучит на ветру, словно мембрана диковинного бубна.
Так стучит в меня осень, разложив партитуру на пюпитрах деревьев.
Всё стучит и стучит! И мне придётся выйти к ней, иначе она перебудит всю округу...



Когда по-осеннему пахнут дожди
И так небеса акварельны,
Мне время уткнуться в колени твои
Единственный раз и последний.

И будет в ресницах немая печаль,
И будет в ладонях разлука,
И крадучись в город проникнет февраль
Без шороха вовсе, без стука.

Как странно мы будем с тобой зимовать
Вне снега, вне ссор и подвохов.
Уже не для сладких объятий кровать,
А лишь для последнего вдоха.

Беда от постели рванет в два прыжка
И годы просыплет, как бусы.
А ты улетаешь – легка, далека...
И мне уже не дотянуться...



За то время, что тебя нет, сквозняк выгрыз дыры в занавесках... соседская длинноухая сука оценилась четыре раза... диффенбахия вымахала до потолка и клонит крону набок...

За то время, что тебя нет, я сносила три пары туфель, три пары перчаток и три затыжных романа... я изменилась на длину волос, на четыре килограмма и две новых пломбы во рту...

За то время, что тебя нет, город разродился кучкой аптек, ресторанов и банков... в нашем сквере спилили деревья и сделали стоянку... а в окне первого этажа больше не видно улыбочивой старушки с улыбочивым котом...

За то время, что тебя нет, луна протоптала дорожку в мою спальню... дожди научились просачиваться сквозь стены... лица на фотоснимках желтеют и становятся чужими... а часы на стене ходят так, как им заблагорассудится...

За то время, что тебя нет, я научилась жить без тебя... я научилась жить без тебя... я научилась жить без тебя... И кто бы знал, как мне хочется, чтобы ты это увидел...



– Ну останься, – говорит он, – останься, я отдам тебе это чёртово право хоть налево идти, хоть идти направо, хоть бежать, хоть лететь – только останься. Я тебя, словно варежку, белой резинкой привяжу – ты иди, а потом возвращайся, но только, пожалуйста, ещё останься, я буду тебе второй половинкой.

А мне хотелось, чтоб он говорил «голубка», чтобы губы дрожали от переизбытка... Господи, что же это за пытка, что за такая чёртова мясорубка? Когда ещё не прожита половина жизни, а половина вечной любви – уже, пожалуй, и даже большая её часть... не жалуй меня, не щади, ни ныне ни присно, потому что ну сколько же уже можно? Во всём, что имею, я сама виновата, и вся уже обложена бинтами и ватой там, где вводилась любовь подкожно. И кому я сдалась – такая вот половинка, не годящаяся даже для медленных танцев. А он говорит: «Ну останься, останься...» И всё тянет, как варежку на резинке...

НЕОТПРАВЛЕННЫЕ ПИСЬМА



Когда декабрь возьмёт меня к себе,
посадит на колени, успокоит,
малютка-ангел на своей трубе
сыграет что-то давнее, простое...

И тот мотив, без боли и без слёз,
во мне откроет потайную дверцу,
и ты легко пройдёшь её насквозь,
и выйдешь из меня в районе сердца.

Твои следы внутри присыплет снег,
и кто-то сверху, потрясая ситом,
прищурится и скажет: «Как у всех...
Ну вот и славно, вот уже забыто».

А ты стоишь под фонарём в такой
дурацкой шапке – умереть от смеха!
И я машу, машу тебе рукой...
Но ты меня не видишь из-за снега.





Теперь, когда мы покинули большой город, и ты отпускаешь мою руку, я просто прошу тебя, приручи мне какую-нибудь зверушку, научи меня играть с ней. Я только хочу слышать движение времени сквозь тёплый пульс чего-то живого, я только хочу всё время находить кого-то глазами.

Чем старше, тем легче, тем труднее.

Уже знаешь, во что может вылиться, чем обернуться, как заболит вдруг невыносимо... Но ничего не знаешь наверняка, и всё ещё может быть. И это по-настоящему пугает.

«Страшно не то, что мы взрослые, а то, что взрослые — это мы...»

Потерять бдительность от случайной ласки, испугаться, и вдруг почувствовать, увидеть, какой необъяснимой нежностью оборачивается обыкновенная земная жизнь.



Мне не пишется чего-то, не поётся... столько страха извела на эти ночи... Мне подруга говорит: «Да что ты, солнце! Очень многим помогает, между прочим, если срочно беззастенчиво влюбиться...» (хорошо ей говорить, она умеет)... под лопаткой у меня гнездится птица... ровно дышит, потихонечку седеет... Это сколько ж было нежности на ветер?... сколько мякоти в душе окаменело?... для того, чтобы тебя сумела встретить, а любить уже, как раньше, не умела...



Мне на самом-то деле плевать, что ты давно не звонишь. Я тебя поселила в какой-то вымышленный Париж, В какой-то шикарный номер с видом на Сен-Мишель – С кабельным, с барной стойкой, с кофе в постель.

Всё, что я помню – дождь... как в шею дышала, дрожа, Как говорил «до скорого», а я уже знала – сбежал. Стояла как дура, в юбке – по бёдрам текла вода... И всё говорил «до скорого», а я слышала «навсегда».

Но мне-то теперь без разницы... В том месте моей души, Где ты выходишь из спальни, из выбеленной тиши, Где время стоит, как вкопанное, где воздух дрожит, звеня, Никто тебя не отнимет уже, никто не возьмёт у меня.

И однажды звонят откуда-то (оттуда всегда в ночи)
И спрашивают: «Знали такого-то?» –

(молчи, сердце, молчи!) –

И говоришь, мол, глупости, этого не может быть...
Он даже не в этом городе... он должен вот-вот позвонить...

И оплываешь на пол, и думаешь: «Господи боже мой!»
И нет никакой Сен-Мишели... и Франции никакой...



В этих красных камнях море вылизало норы, где живут удивлённые крабы и ракушки растят своих устриц. Я сижу согнувшись, не шевелясь, словно продолжение этих валунов.

Если я буду сидеть достаточно долго... достаточно для того, чтобы затвердеть и покрыться мелкими трещинками, стать холодной, шероховатой, розовой от закатного солнца... рано или поздно камни примут меня, нашепчут новое имя, пустят поближе к воде.

Сквозь дырочку в груди будет свистеть северный ветер. Ты будешь долго идти вдоль берега на звук, и найдёшь меня, как «куриного бога». И, возможно, унесёшь с собой, вдев солёную влажную нитку... на счастье.



Нас никто уже так не полюбит,
Как обещано было сперва.
Сентябри, словно кольца на срубе,
И не к месту слова.

Время сколет все наши скорлупы,
Как в орехе – проступит нутро.
Не целуй меня в лоб, только в губы,
Проводи до метро.

До угла, до оградки, до края...
Нам теперь все места хороши.
Это вечность из нас прорастает
Обещанием жить.

Мы смешны, мой стареющий мальчик,
Нас ещё от касанья знобит.
Видишь, осень, как душеприказчик,
В переходе стоит.



Когда я представляю тебя, то вижу всё время одну и ту же картинку, как я обнимаю тебя в метро, прижавшись спиной к раздвижным дверям.

Эта картинка самая стойкая, самая осязаемая.

И только переступив через неё, я вижу все остальные.

Мне бы хотелось, чтобы рубежный кадр был совсем другим. Как ты склоняешься надо мной в темноте, и лицо твоё близко-близко... как ты выходишь из душа и улыбаешься... как ты целуешь мои колени, а я глажу тебя по волосам... как я просыпаюсь от того, что ты на меня смотришь...

Но сперва метро.

И в этой картинке собрана вся нежность и всё отчаянье. И я даже знаю почему.

Чтобы не забыть, сколько и чем мы за это платим.

Через двое суток я сажусь в поезд и уезжаю отсюда в другую жизнь, в мою параллельную реальность. И так будет ещё много раз. Пока однажды раздвижные двери за моей спиной не откроются внезапно. И тогда я выпаду из тебя, как из вагона метро.

И если ты успеешь меня удержать, мы навеки зависнем в этом падении, как Пизанская башня. И наши тени упадут рядом и уже никогда не разомкнут объятий.

И я даже не знаю, что хуже...



Всё линяет, теряет краски, сходит на нет. Это просто зима, мой мальчик, и это проходит. Но пока в поднебесье стучат ледяные ходики, Но пока не отмёрзли ещё хвосты у комет, Ты мне будешь свет.

И стараньями новой зимы я узнаю о том, Что ты снова постригся, сменил гардероб и мысли, Научился писать «моя девочка» с верным смыслом. И хотя в этой девочке я себя вижу с трудом, Ты мне будешь дом.

Для того чтобы видеть, достаточно просто смотреть. Я целую глаза твои, чтобы они просветели. В этих белых снегах нам не будет ни сна, ни постели, Но когда я тебя отогрею хотя бы на треть, Ты мне будешь смерть...

Но задолго до этого нас разведут, как мосты, Время нам ничего просто так не отдаст, не подарит. Моё сердце похоже на отрывной календарик. Но пока ещё в нём остаются пустые листы, Ты мне будешь ты.



Нет ничего особенного в том, что жизнь твоя без меня мыслима. Видишь, у меня тоже получилось.

На смену обидам приходит прощение, на смену страхи – безразличие, на смену любви – другая любовь. Потому что заменить её больше нечем.

И только боль не сменяется ничем. Мы хроники. Мы вкальваем себе инъекции прошлого, как анестезию. Мы все оплетены метастазами.

Где-то в уголке сознания – да что там! – в каждом углу бродят наши тени, совокупляясь с нами же, просроченными лет на десять.

Скажи, ты боишься? Да ладно, я знаю, что боишься. Слишком далеки мои колени от твоих слёз.

Будь сильным, где бы ты ни был.

Мне хочется иногда написать тебе или позвонить, хочется, чтобы ты знал о моих успехах!

Но нет такого почтальона, который расстарался бы на это чудо.

А главное – у меня нет таких успехов...

Там, где ты пребываешь сейчас, всё это не имеет никакого значенья.

По одну сторону крестовины – постель, где мой трафарет никем не заполнить, а по другую – девочка со сбитой коленкой. Она поддевает пальчиком коричневую корочку на ране, и рана снова болит и сочится, и мама злится: «Ну, вот видишь, я же говорила!»

Я давно выросла, но язвы мои кровоточат. И я бинтую себя в мелованную бумагу, где каждый лист расписан чужими именами.

И даже если однажды кто-то соберёт эти листы в одну книгу, ты никогда не догадаешься, что она о нас.



Когда ты был по ту сторону моря,
Я почти не спала, всё варила варенье
Облепиховое, помнишь, как в твой день рожденья,
Тебе нравилось, хоть ты и спорил,
Что сахару надо меньше, что слишком сладко...
Когда ты был по ту сторону, ждала писем,
Мыла окна, звонила твоей маме,
Она говорила, мол, взрослые, разберётесь сами,
А сама теребила фартук, плакала украдкой.

А я гладила занавески, пылесосила коврик,
Трогала по утрам рукава твоих рубашек,
Рассматривала на карте берега того моря,
И не было берегов тех живописней и краше.
Я читала твои книги, заглядывая в твои мысли,
Я придумывала имена, если сын вдруг или доченька...
Потому что я чувствовала в каком-то смысле
Себя и женой уже, и мамой, и прочее...

А когда варенье засахарилось и совсем остыло,
Ты приехал с красивой заморской невестой.
И сразу в этом городе стало невыносимо тесно,
Словно сам город превратился в могилу.
Мы не выясняли никаких отношений,
Ты сказал, что отношений и нет между нами.
А я так и хожу теперь, словно с камнем на шее...

И уткнувшись в ладошку Боженьке крохотными носами,
Спят на облаке наши дети с придуманными именами.



На моём плече покоится твоя голова.
Всё, что ты говоришь, я пытаюсь делить на два.
Тебе снова вчера звонили и молчали долго,
я не спрашиваю кто, мне неинтересно,
твои оправдания скучны и пресны,
и мне от них никакого толку.
Всё, что можно произнести вслух, уже было.
Мне только странно, откуда в тебе берутся силы
На женщин, которые при ближайшем рассмотренье
(что бы ты ни говорил – это очень видно,
поэтому мне и странно, и обидно)
похожи на меня, как зеркальные отраженья.
Сейчас ты выпьешь свой утренний кофе,
скажешь, что никто другой такого не сварит,
а я отправлюсь к своей ежедневной голгофе –
к зеркалу, которое меня старит.



Посмотри, я ни пряник испечь, ни огонь развести,
ни птенцов боронить.
Я от ласки любой застываю столбом соляным
и немею...
Да меня этим бабским наукам учить –
словно пальцем по небу водить.
Я болтаюсь, как шарик на ниточке, и ничего не умею.

И тебе не понять, что же ноет во мне
и дрожит нутряной пустотой
Там, где боль уже выскребла всё добела, подчистую...
Это память, припав к пуповине,
тихонько питается мной и тобой.
Отпусти, обкуси эту нитку,
пусть кто-то привяжет другую!

Небо падает навзничь,
но ты подхвати его на руки, словно дитя.
Подхвати и подбрось высоко-высоко,
как резиновый мячик.
А потом просто стой дураком
и смотри, как попарно летят и летят
Надувные смешные шары:
мальчик-девочка,
девочка-мальчик...



ГРУСТНЫЕ ПИСЬМА

Слышишь, папа, как годы идут насмарку, я боюсь их, они стекают песком сквозь пальцы. Твоя внучка с тобой никогда не гуляла в парке, как и я, никогда, в красивом крахмальном платьице. Там не страшно, папа, под крестиком, под землёю? Почему ты не снишься? – мне нечего даже вспомнить. Этот город зятанут кладбищами, как петлёю, словно сумрак зятанут в пространство пустых комнат. Я такая дура, папа, такая баба... телевизор да чай, да влюбляться себя отучила. Я никак не помою кафель над ванной, папа... я вчера так жалела себя, все платьица перешила. Как тебе там, не холодно? не досадно? А моя бессонница снова берёт все планки. Я пирог испечь не умею, но это – ладно... я опять постриглась под мальчика, как пацанка. На семи холмах этот город, как на качелях... С днём рождения, папа, хотя я не вижу смысла. Я к тебе зайду, обязательно, на неделе. Я ещё рассказать хотела... да сбилась с мысли...





Повезу тебя на саночках, на саночках –
Только змейки от полозьев на снегу.
Посмотри, как изменился город за ночь, –
Я тебя ему оставить не могу.

Повезу тебя по горочкам, по горочкам
И все пальцы о верёвочку сотру,
В этом воздухе рассветном столько горечи,
Что глаза мои слезятся на ветру...

Повезу тебя тихонечко, тихонечко,
Ни кровинки в запрокинутом лице,
Только музыка трамвайных колокольчиков,
Только гаснувший фонарик на крыльце,

Только снег метёт, и город словно сказочный –
То ли сверху небеса, то ли внизу.
Повезу тебя на саночках, на саночках,
Прямо к Богу на крылечко повезу.



Крошка Мадлен, не плачь.
Что тебе тот Париж?
Рыжего солнца мяч
Утром коснётся крыш,

Будет тепло, Мадлен,
Кто-нибудь да придёт.
Боли твоей взамен –
Лишь пересохший рот.

Тише, Мадлен, молчи,
Не выдавай себя.
Нет никаких причин
Плакаться голубям.

Это как-будто спишь...
Трещинка на губе...

Будет тебе Париж.
Только одной тебе.



Мне вдруг очень захотелось вернуться в то время,
когда я ничего не знала о любви. Когда только мечта-
ла, и грезила, и выдумывала себе всякое... когда не о
чем было вспоминать.

Потому что тогда верилось вот в эти пресловутые по-
ловинки, родственные души или как их там ещё назы-
вают... Тогда казалось, что непременно есть где-то
человек, у которого внутри всё устроено вот точно
так же, как у тебя, точно таким же образом. И что
этот человек знает, где тебе хорошо, а где больно, и
видит мир точно такими же глазами...

И ты была вся, как ручная граната... тебя распирало от
предвкушения, иллюзий, нежности, планов, надежд...
Ты ждала свою единственно возможную судьбу, что-
бы взорваться миллионом счастливых искорок ей на-
встречу.

А годы катились и катились. И все половинки прижи-
вались лишь на время, оказываясь чужими. И никого,
кто был бы вот точно такой же, кто чувствовал и ви-
дел бы всё вот так же...

И ты так поздно понимаешь (господи, отчего же так
поздно?), что любовь не даётся даром... что она тре-
бует всего сердца, всей крови и всей жизни!

И стоишь как дура посреди своей взрослости, и дёр-
гаешь, и вырываешь в отчаянии эту чеку!.. а ничего
уже не происходит...



Как дурные вести... захлебнуться вдохом – не сказать.
А нательный крестик – да в сырую землю – не сыскать.
Как дурная сила – целовать запястья в холода. Как его
любила – не боясь ни страха, ни стыда. Говорила мама:
«Не бери чужого», – я брала. Я была упряма, я шшила
перья в два крыла... Увела из дому, застелила про-
стынь вдоль души... прямо по живому. Говорила мама:
«Не грехи». Без оковы пленный... и такая хитрость
– где взялась? Прямо внутривенно я ему вводила эту
страсть... Были голы-босы, а любовь не грела, не спас-
ла... «Отольются слёзы», – говорила мама. Не врала.



Агнешка живёт в квартирке под самой крышей,
Стирает чулки в тазу, варит рыбу кошке,
Подолгу глядит в окно, и по будням пишет
Записки тому, кто живёт этажами выше,
Что крема для рук осталось совсем немножко.

Внутри у Агнешки летят и летят снежинки,
Она проплывает себя на блестящей льдине...
Агнешка не любит кино, не крутит пластинки,
А просто стирает чулки на ажурной резинке,
И трёт их, покуда вода в тазу не остынет.

Под окнами ездят машины и ходят люди,
Им дела нет до Агнешки – известно точно.
Но если она вдруг чулки постирать забудет,
Возьмёт и однажды их вовсе стирать не будет,
То страшно подумать, что с ней случится ночью.

А ночью чулки шуршат и в постель заползают,
И прячутся в складках, и вверх по груди струятся.
Агнешка бежит – целый таз воды набирает,
Агнешка не дура, Агнешка прекрасно знает,
Что мокрым чулкам уже на кровать не забраться.



Ребёнок внутри меня, мой внутренний ребёнок, больше не хочет играть один.

Сперва его сажали в манеж, давали погремушки и уходили в кухню. И выглядывали изредка из-за двери – проверить.

Сидит? Сидит. Играет? Играет.

И на цыпочках уходили опять.

Потом ему покупали книжки, или кубики, или конструктор. Какие-то куклы, дочки-матери, грузовички какие-то, наборы цветных машинок, альбомы и краски...

Он умеет играть один. Он прекрасно умеет себя занять. Да что вы говорите? Такой самостоятельный ребёнок!

Да-да, сами не нарадуемся...

Ребёнку внутри меня очень повезло. Он сразу знал, что есть времена, когда нужно уметь играть самому с собой. Рассматривать узор на ковре и на обоях. Читать буквы в тишине, шевеля губами. Понимать про любовь и про смерть. Бояться того и другого.

Хотеть того и другого.

Сидеть над разбитым корытом. Над недопитой бутылкой. С сигаретой на балконе. В слезах на постели. В чужом городе на вокзале. В больничном коридоре. На лавочке у могилы...

Мой внутренний ребёнок освоил почти все игры, но больше не хочет играть один.

Он больше не хочет!

Потому что – ну ведь должны же где-то быть ещё дети!



Если кому не спится, так это Насте.

Настя лежит в постели и смотрит в угол.

В этом углу живут все её напасти,

Страх разрывает сердце её на части.

Насте почти шесть лет, и бояться глупо.

Глупо бояться, но кто-то в углу дышит,

Мучает кукол и душит цветных зайцев,

Страх подбирается к Насте всё ближе, ближе,

И языком ледяным вдоль лопаток лижет.

Настя сжимает простынь – белеют пальцы.

Выхода нет, и куклам ужасно больно –

Настя кричит: «Мама! Спаси кукол!»

Мама вбегает и видит всю эту бойню.

И говорит: «Ну хватит! С меня довольно!» –

И до утра ставит Настю в тот самый угол.

Настя идёт через сквер в ночной рубаше,

С полным пакетом игрушек, убитых ночью.

И высыпает на землю у мусорных баков,

И с удивленьем глядят дворовые собаки,

Как она топчет их, топчет, и топчет, и топчет!..



Пэм надевает смешной мешковатый свитер,
Грубая вязка, с карманами – здесь и здесь.
Старые джинсы, что на коленях вытерты,
Стали тесны. В остальные уже не влезть.

Этот сутулый мальчик на ней не женится.
Ну и не надо... подумаешь! Сам урод!
У Пэм задержка три с половиной месяца.
И она всё надеется: может, ещё пройдёт.

До выпускных экзаменов – уйма времени,
Географичка опять невзлюбила Пэм.
Что-то всё время ноет в области темени:
То ли бейсболка жмёт, то ли груз проблем.

Маме не до неё, мама снова в депрессии,
Прячет в комодке справку, глядит в окно.
В справке написано «фибромиома в прогрессии» –
Пэм почитала тайком, но ей всё равно.

Ей всё вокруг представляется кинематографом,
Ей всё вокруг – одинаковое на вкус.
Этот сутулый мальчик метит в фотографы
И уезжает в какой-то столичный ВУЗ.

Елки не будет. Какие тут, к чёрту, праздники?
Нет даже снега толком, всё дождь и дождь.
Что он там говорил про «такие разные»?
Что он над ней смеялся «чего ревёшь»?

Рано темнеет. Мама заходит в комнату,
Свет включает – на большее нету сил.
И выключает тут же! И думает: «Что это?..
Ну, чёрт поberi! Ну кто тебя, Пэм, просил?..»



Дядя Вася играет на аккордеоне,
Отбивает ногою ритм и кричит: «Бляди!»
Его жена в исподнем прячется на балконе,
На кухне кипит чайник и говорит радио.

Дядя Вася – мужик рукастый, хоть пьющий,
Гвозди у него вбиты, лампочки у него светят.
Но когда по утрам дядю Васю плющит,
Его бояться даже собственные дети.

У него шрам во всю щёку, а в голове пуля,
И эту пулю не вынут ни в одной больнице.
Дядя Вася баррикадирует дверь стульями,
А соседи опять вызывают милицию.

Но расклад такой, что баррикады рухнут.
У жены от страха трясутся поджилки.
Жена потихоньку пробирается на кухню
И прячет подальше все ножи и все вилки.

Протокол, показания, разъяснительная беседа,
Дети плачут, жена наливает участковому.
Всё утрясается и рассасывается к обеду.
Так заканчиваются все войны, ничего нового.

Дядя Вася ест борщ, смотрит как-то рассеянно,
Он чувствует, что где-то его обманули.
И уходит в комнату, тихий и потерянный,
И до вечера чинит там поломанные стулья.



Что мы понимаем друг о друге?

Что мы, вообще, можем понять, лежащие в тёмной комнате на разных материках постели?

И один из нас думает о том, что любовь, любовь (господи, а что же ещё-то?) должна быть спасением. И что, проснувшись утром, вдруг обретёшь этот дар – быть спасённым любовью, как волшебной палочкой, которую накрепко сочинил себе в детстве и отложил на чёрный день.

И этот один из нас лежит, вглядываясь в темноту над собой, и ждёт чёрного рассвета с надеждой и сомнением. С надеждой – потому что убеждал себя много лет, и почти убедил, и всё себе придумал и представил. И тот единственный смысл, который возвёл в абсолюте, теперь скрашивает ожидание.

С сомнением – потому что смысл этот зыбок и недоказуем. Но ведь любовь же, господи, что же ещё! И тянет руку, чтобы тихонько коснуться того, второго.

А второй из нас лежит и думает о том, что любовь – это смерть, это смерть...

Второй шевелит пальцами ног под одеялом и чувствует себя богомолем. И закрывает глаза, чтобы отделить свою собственную темноту от темноты общей, и видит изнутри только красное и овальное, красное и круглое, красное и пульсирующее.

И боится. И всегда знал, что так будет однажды, а боится всё равно. И тихонько отодвигается и изгибается на постели, чтобы лежащий в другом полушарии спальни не дотянулся, не коснулся, не потревожил страшного ожидания.

А над ними обоими витает любовь. Одна и та же. Та же самая, что и над всеми остальными. Над всеми вообще! И каждый, каждый из нас лежит, глядя в потолок или закрыв глаза, в своей персональной темноте, в колыбели из собственных предчувствий и ожиданий. И так мы лежим тихонько, как куколочки богомолёв, а где-то (не спрашивайте меня...) ровными стопочками сложены узкие аккуратные коробочки с детскими волшебными палочками.

И на каждой написано имя и срок годности.

И почти все они просрочены. Потому что мы выросли и забыли. Выросли и забыли.

Потому что мы каждый раз уверены, что что-то понимаем друг о друге (особенно если любовь, господи, если любовь)...



Бобби, твой сын никогда не пойдёт на войну,
Ему не выдадут каску, флягу и патронташ,
Он не будет тащить на себе чужую вину,
И не выйдёт в расход, Бобби, или в тираж.

Во всяком случае, знаешь, он никого не убьёт,
И не пойдёт за это ни к ордену, ни в тюрьму.
А если кому-то снарядом башку оторвёт,
Так то не ему, Бобби, не бойся, то не ему.

Твой сын не встанет солдатом в какой-то строй,
Не схватит гранату, штык или автомат,
Он будет живой (живой ли!), он будет живой!
Ты, Бобби, выходит, будешь не виноват.

Просто твой сын уже возвратился с войны
(есть линия фронта, которой на карте нет),
Он проиграл её прямо в утробе твоей жены...
Толкай же коляску – у сына промокли штаны,
Толкай коляску, Бобби, пропустишь обед.



Это Ляля несёт впереди себя свой живот,
Она не знает пока ещё, кто в животе живёт.
Ей предлагали выпить литр воды и сделать УЗИ,
Но ни мальчик, ни девочка ей ничем не грозит.
Это Ляля не хочет знать трогательных мелочей,
Кто бы там ни был, он как будто вообще ничей,
Он как будто случайно, и надо чуть-чуть потерпеть.
Это Ляля не хочет его ни любить, ни даже жалеть.
Он выйдет из неё, сядет в поезд

и поедет себе далеко,
А у неё всё наладится и свернётся в груди молоко.
Этот поезд идёт и идёт, и конечной у поезда нет.
Это Ляля уже оплатила и койку, и детский билет,
И теперь свой живот через город к вокзалу несёт,
У неё ничего нет общего с тем, кто внутри живёт.
«Здесь был я!» – он тихонько царапает там на стене.
Чтоб она его не забыла.

И она никогда уже не.



В иные дни одиночество ощущается так остро, что им можно нарезать время на кусочки.

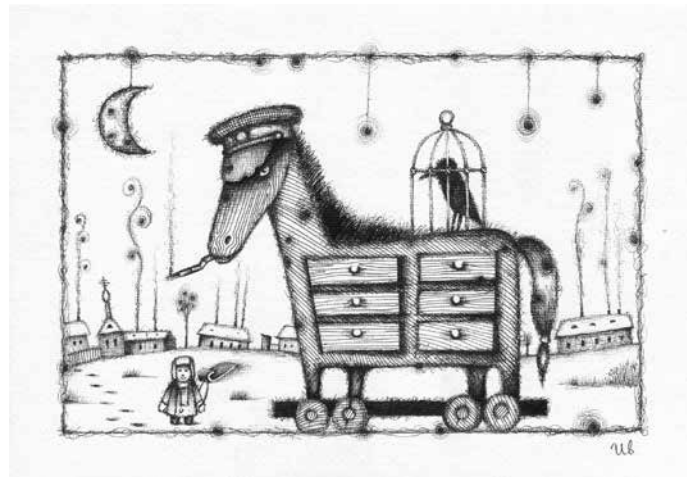
Тогда мне кажется, что я заперта внутри себя и смотрю наружу сквозь лобовое стекло. Дворники не работают, и всё засыпает снегом.

Зимой воспоминания прозрачные и ломкие, как ледяная кромка. Я аккуратно вынимаю их из памяти, чтобы не повредить жизненно важные центры. Но это ничего не меняет. В слове «вечность» каждый раз достаёт одной буквы.

Когда срок аренды закончится, нас попросят освободить эту жизнь.

И когда мы все уйдём, кто проверит, выключен ли уют, закрыты ли форточки...

Каждый раз, подходя к зеркалу, я надеюсь увидеть глаза, из которых смотрит на мир кто-то лучший.





В том прошлом, которое я прекрасно помню, осталось так много людей, с которыми мне хотелось бы поговорить теперь, когда я совсем взрослая девочка. В том прошлом мне ещё не нужно их оплакивать и целовать в лоб, зажигать свечи и красить оградку...

...Там бабушка в очках чистит картошку, улыбается, вытирает руки о фартук, чтобы заплести мне косичку...
...Там дед ругает меня за сбитые коленки, а ночью, пьяный, играет на трубе и стучит ногой в пол, отбивая ритм...

...Там мамыны младшие сёстры никак не поделят новую юбку и бегут к бабушке жаловаться друг на дружку...

...Там отец закрылся в ванной и колдует над фотографиями, окуная их в проявитель и фиксаж...

...Там дядя Лёва примеряет новые остроносые штилеты и поёт раскатисто: «Где же ты, моя Сулико»...

...Там братик Андрейка деловито объезжает двор на трёхколёсном велосипеде и рыжая Боба носится за ним, заливаясь радостным лаем...

Иногда во сне я звоню в прошлое и долго слушаю короткие гудки.

В прошлом теперь всё время занято.

Значит, есть надежда, что там ещё кто-нибудь жив...



Ёлка, сочельник, метель метёт... Снега на улице – горы!
Девочка смотрит в окно и ждёт. Мама повесила шторы,
Мама намазала кремом коржи – нет ничего вкуснее,
Мама решила иначе жить – утро опять мудренее.
Девочка ждёт кулачки зажав. Мама молчит подолгу.
Папа приедет, он обещал... взрослые врать не могут.
Как на верхушке горит звезда, как мандарины пахнут!
Платье у девочки – красота! Папа увидит – ахнет!
Ёлка, сочельник, блестят огни, медленно время тает.
Девочки в детстве совсем одни, просто никто не знает...
Ночь за окном, не видать ни зги. Слёзы к утру высыхают.
Спят в своих комнатах девочки.
Маленькая и большая.



Была как стебель, упрямый, тоненький –
Его в два счёта в руке сломать.
Была как новая колоколенка,
По срубку свежая – век стоять.

За океаны меня выманивай,
Зови за дальние города,
А корешок – хоть не цепкий, маленький –
А глянь, не выдернешь никуда.

Растила музыку из одуванчиков,
Башкою билась в колокола,
Любила мальчиков, жалела мальчиков,
И провожала их, и ждала.

Нательный крестик носила деточкой.
Носила деточку под крестом.
Вину сплетала из тонких веточек –
Никак не выпутаться потом.

Ах, мама-мамочка, руки голенки,
Кого кормить бы из этих рук?
Стою высоко на колоколенке,
Куда ни глянь – никого вокруг.



Иные воспоминания затвердевают в памяти, и с места их уже не сдвинуть. А лишь рядить, как кукол, в цветные одёжки, прикрывая страшное и болезненное – чистеньким и красивым.

Оно мало или велико, обвисает, не налезает, спадает. И каменные чучела, как ледяные скульптуры, снова холодят нутро.

И нет такой группы крови, чтобы отогреть их ткани. Можно лишь расколоть на ледяную крошку и хранить в ней пакеты с просроченной любовью.

Самые главные вещи мы всегда упускаем из виду. Именно они потом вкручивают шурупы в наши головы и ноют там, ноют...

Как ты складывал губы, когда дул в ложку с горячим супом? Как смотрел на меня, когда подносил эту ложку к моему рту? Сейчас, в сотнях километров отсюда, в десятках постелей от меня, ты скармливаешь наше время кому-то другому.

А я даже не могу этого представить.

Как ты закрывал дверные замки уходя? Сперва верхний, потом нижний (господи, зачем мне это знать!), сперва нижний, потом верхний?

Достать лоскутное одеяло истлевших иллюзий, вернуть в него окаменевшие чучела воспоминаний и снести на пустырь. Найти в себе силы не смотреть, не видеть, как что-то ещё шевелится в свёртке, как манит, притворяясь живым и тёплым.

Бежать, бежать без оглядки...

Бежать и чувствовать, как внутри лопаются во льду просроченные пакеты, и их содержимое тут же застывает, затвердевает, каменеет, чтобы в памяти его уже не сдвинуть.



Прошлые связи липнут к памяти, как проказа. Там, где я тебя помню, ты всегда смеёшься. Если бы они знали, как ты мне достаёшься, Они бы не напомнили о себе ни разу.

У меня к тебе столько всего уже накопилось – И обид, и претензий, и если однажды Я не проговорю их, не выговорю каждую, То сложу оружие и сдамся на милость.

Эти мальчики на тебя похожи анфас и в профиль. Промелькнёт такое в толпе – и сердце рвётся. Мне всего ничего от тебя уже остаётся: Миллиметры сна, миллилитры горького кофе.

Зачинали друг друга по-быстрому, как умели. Всё должно было быть не так, а как-то иначе. Говорил: «Детка, ты столько для меня значишь! Мы уедем в Европу!» (добрались лишь до постели).

Твоя детка стареет, густо припудривает морщины, Набирается смелости и звонит в Палермо... Четыре долбанных года звонит, наверно, Чтобы услышать оставленного там мужчину.

И у неё нет на то ни одной причины. И ей так скверно... невыносимо скверно...



Он приходил ко мне, плакал, клал голову мне на грудь,
А я думала: «Ну ладно, ну выкарабкаемся как-нибудь.
Ну, допустим, нет у него ни совести, ни смелости, ни угла,
Но я же сама его выбрала, сама же его позвала.
У него глаза, как у ангела, а он и не знает, дурак.
Ну как с него что-то требовать, когда он так смотрит? Как?»
Носилась, как с писаной торбой, жалела, сдувала пыль...
И, в общем-то, долгое время мы славно с ним «жили-были».
А в какой-то момент я умаялась весь мир на себе тащить,
А главное – мне-то некуда было голову приклонить.
И в голове моей неприкаянной такие пошли дела,
Что я того ангела выпроводила и денег в дорогу дала,
И даже чуть-чуть поплакала по дивным его глазам,
А он говорит: «Да ладно тебе, я давно хотел уже сам...
И вообще, не думай, что ты там какая-то особенная.
Думаешь, мало баб, которые будут на меня молиться?
Да ты ещё сто раз пожалеешь! И вообще, запомни – это
я тебя бросаю. А то возомнила тут, понимаешь...»
Взмахнул грациозно крыльями, и встретимся теперь едва ли.
А как же его звали-то? Господи, как же его звали?..



В Риме под Новый год не бывает снега.
Сверху город похож на конструктор «лего»,
Сверху всё выглядит как-то совсем по-детски.
Вот мы сидим на площади, словно нэцкэ –

Миниатюрные гипсовые изваянья.
Вот мы стоим под сводами Сан-Джованни –
О, как мы живы здесь до изнеможенья!
Вот мы в кондитерской выбираем печенье,

Сверху печенье вовсе неразлично,
Но различим автобус, ползущий мимо –
Группа туристов экскурсоводу внемлет.
Вот эскалатор утаскивает нас под землю –

Вместе с печеньем, с разноязыкой толпою,
С глупой тоскою, забившейся под ребро,
С этой дурацкой, треклятой моей любовью...
А время блокирует выходы из метро.



Я не люблю римское метро. Там скучные маленькие залы, приглушённый свет. Вот разве что та часть линии, которая выходит наверх и пересекает Тибр... Мне нравится только одна станция – «Площадь Кавур». Там мы с тобой встречаемся каждое воскресенье. Ты всегда опаздываешь. У тебя есть на то масса причин. Ты совершенно свободен – ты бездомный, безработный, ты не знаешь итальянского и ночуешь на пляже. Мы покупаем мороженое и бредём вдоль улицы Тренто.

На той неделе тебя взяли в ресторан мыть посуду. Ты продержался два дня. Да, я понимаю, это не твоё. У тебя слишком красивые руки.

Мадам Варэзи отказалась от твоих услуг. Я понимаю, гулять со старушкой – это скучно, да, ты не сиделка, я понимаю, ты раздражаешься, ты повышаешь голос. Недавно тебе повезло, удалось поработать на автомойке. Да, наших там ни во что не ставят. Ты не прислуга, да, не мальчик на побегушках, я понимаю.

Мы опять покупаем мороженое и садимся на паркет возле сквера на «Мадре Мария». Мимо нас течёт поток машин, однообразный и равномерный, как римская подземка.

– Наташа, купи бусы! Купи бусы, Наташа! – араб-коробейник улыбается мне белозубым ртом. Как они нас вычисляют?..

Ты никогда не даришь мне ни цветов, ни подарков. Даже на мороженое у тебя нет денег.

Завтра ты пойдёшь на русскую биржу. Там опять облы. Но тебе что-то обещали. Конечно, я понимаю, ты не нигер, ты не будешь убирать дерьмо, конечно, у тебя два высихших...

Ещё осенью ты подарил мне иглу дикобраза. Нашёл на пляже. Красивая! Один конец тупой, другой острый и белого цвета. Я привязала её к сумке на бедре.

Я так тебя люблю, что каждый раз, чтобы не заплакать или не сказать тебе гадость, я нащупываю острый конец и втыкаю его в палец.

Мы гуляем до темноты. Летом темнеет поздно. Ты опять не позвонил своим? Последний раз – в том месяце? Ну да, совсем недавно.

Я покупаю тебе сигареты. На метро «Фламинио» ты провожаешь меня до турникета. Я даю тебе денег и целую в губы. Ты не глядя кладёшь их в карман, и по твоему лицу я не могу понять, что ты чувствуешь...

Я долго не могу уснуть. Душно и тяжело. То ли страх мучает мои сны, то ли ноют исколотые пальцы...



Время выбирает опцию «сепия», потом «ч/б», потом понемногу убирает яркость и контраст... и кто я тебе теперь?

Я тебе – прошлое.

Пускай, пускай. Вложи меня между страниц своей памяти, надпиши дату, поставь подпись. Я не займу много места, я сгруппируюсь, я ничем себя не выдам.

Никто не узнает, только ты.

В этом какая-то особая интимность, какая-то иллюзия жизни и драмы.

Но нет, нет... Время вымывает меня из тебя, как волна. Вылизывает, выгрызает, словно моллюска из раковины.

Мне скоро будет не за что зацепиться.

И там, где ты невольно отслаиваешь меня от своих снов, уже образовалась достаточно большая брешь. Достаточно большая для того, чтобы меня выбросило на берег.

И я спешу чертить тебе письма на боках неторопливых рыб, как чертила на сушёной треске некая лопандка некой финке. С той лишь разницей, что мой адресат выбыл.

И вся надежда – на подводные течения.



А если можно как-нибудь вернуться
Туда, где наши тени остаются,
Чтобы друг друга за руку держать?
Ведь мы могли бы просто, как игру...
Не говори, я сам себе совру,
Я до сих пор не разучился врать.

Просмотрим память, словно киноплёнку,
Внутри меня ещё ведутся съёмки,
И ты – актриса этого кино.
А я небрит, я жалок и простужен,
Я столько раз уже обезоружен,
Что на меня войной идти смешно.

И потому ты больше не воюешь.
Ты осторожно в лоб меня целуешь,
Чтоб не будить, не извиняться чтоб...

К утру все крыши заметут метели.
И я лежу один в своей постели,
Как «снежный ангел», вдавленный в сугроб.



Ещё в то время, когда мне хотелось славы и признания... когда все умники-красавцы годились мне в будущие мужья, а умницы-красавицы в настоящие подруги... когда лет мне было столько, что любое «всегда» и «никогда» срывалось с губ так же легко, как «добрый вечер»... когда душа моя ещё не знала сомнений, сердце – потери, а тело – желанья... когда на вопрос: «Где твой дом?» – я всегда знала, что ответить... взрослые были ещё детьми, старики – взрослыми, мёртвые живыми, а я была беспечной и оттого неуязвимой...

И все пули летели мимо меня, и ломались все копыя, и тупились клинки...

И была пущена стрела, с острым клювом, с ярким опереньем... и вгрызлась мне прямо под грудь, ввернулась, вползла ужом, втекла струйкой, оставила жёлоб до самого сердца... И эта невидимая брешь, затянутая тонкой пульсирующей кожей, притягивает к себе все пули, все копыя, все клинки... и ноет непрестанно. Дом заброшен, красавцам отказано, умницы забыты. Я бегу и бегу, огибая любое «всегда» и каждое «никогда»... дети стали взрослыми, взрослые – стариками, старики уснули...

Где-то, на другом краю земли, ты протираешь раз в месяц старый разошедшийся лук, подтягиваешь тетиву, пробуешь на прочность... и снова ставишь в шкаф, аккуратно, между потёртым замшевым пальто и видавшим виды твидовым пиджаком... и, наверное, идёшь пить чай, в старых шлёпанцах на босу ногу...



Один всё подтрунивал надо мной,
мол, тощая и смешная,
другой на руках носил,
говорил – приятная ноша,

а еще один целовал только в лоб
и резался в карты,
я всё-время проигрывала,
со мной играть неинтересно,

ещё такой был, что приносил мне книги,
словари всякие и энциклопедии,

а другой любил, когда я готовлю
и кормлю потом, и добавку тоже,
а еще один всё просил, чтоб пела,
и поплакать мог, больше было негде,

а другой твердил – занимайся спортом,
хоть курил и пил, ни черта не делал...

А потом они все вдруг переженились,
развелись, поженились опять,
расплодились,

и ни одна сволоочь не позвонит,
не спросит, хоть изредка, хоть однажды –
как, мол, ты там, Ленка наша?
Как ты там?..



ПИСЬМА В БУДУЩЕЕ

Нас учили с тобой потихонечку снашивать сердце
И сомнительный берег менять на надёжный уют,
Но мы тратили щедро – и вот уже нечем согреться.
Нам когда-то платили любовью. Теперь подают.

Ты один у меня, даже если вас было несметно,
Ты один у меня, сколько лет ни прошло бы и зим.
Заострит наши грифели память почти незаметно,
Заострит наши профили время – один за другим...

Я тебя не тревожу ни словом, ни сном еженощным –
Ни к чему... Что могла бы сказать я в защиту свою?
Твоё имя забито, как колышек, мне в позвоночник.
Там с десяток таких. Или больше. На том и стою.





В какой-то момент вдруг застаёшь себя в странном месте, за странным занятием, в каком-то переходе метро, в чужом городе, вне времени. Стоишь, воткнувший как игла между каменных плит перрона, и сквозь отверстие в груди кто-то вдевает и протягивает нити, словно шьют что-то внутри (господи, что они там шьют?) и намертво стягивают края невидимой раны.

А мимо тебя, по касательной, текут люди... Даже не так. Прямо сквозь тебя!

Тянет холодом из тоннелей.

И прямосквозьтебя проносятся вагоны метро, пробегают дети, просачиваются голоса, смыкаются двери, размыкаются турникеты.

И сперва под тобой разверзается бездна, ты срываешься в неё одновременно – и лишь успеваешь зафиксировать временную остановку сердца.

А потом эскалатор выносит тебя на поверхность, и ты ступаешь в холодный белый сумрак... так, словно только что вернулся с войны.

А во всём мире идёт снег и солью застывает на ресницах.

И пытаешься дышать ровнее, чтобы внутри (что же они там с тобой сделали?) не разошлись швы.

И понимаешь – там что-то забыли, что-то случайно оставили, зашили в тебя намертво, какой-то инструмент (зажим? скальпель? ретрактор?), какую-то ерунду...

И ты теперь всё время это чувствуешь (так сладко и так больно). И всё время об этом помнишь. Как будто у тебя внутри пуля, которую безопасней оставить, чем удалить.

И, в общем-то, ничего не изменилось.

Просто теперь ты знаешь, как это.

И (чёрт знает почему) тебе спокойнее.



И из всех живучих моих сестёр
Я одна невредимая до сих пор,
Потому что не знаю, как умереть,
Рыбаки мне вскрывают грудную клетку,
Гарпунами нащупывают во мне
Моё рыбье сердце на самом дне,
Гарпунами раскалывают весь лёд,
А из сердца кровь уже не идёт.

И зачем тебе, Боже, тот рыбный день...
Отпусти меня, Боже, к едрене-фене.
В животе моём пусто, в груди темно,
Ничего во мне путного всё равно,
Только полные жабры дурной любви...
Бог вздыхает и говорит: плыви.



Когда я вырасту – большая, красивая, – с руками взрослыми, глазами умными... я обязательно буду счастливою (поскольку дальше – куда тянуть уже?) Когда я вырасту в морщинки-лучики, в седую прядку, в резную тросточку, ко всем замочкам подберу ключики... куплю себе платье в мелкие розочки, какую-то шляпку, перчатки, брошечку... Когда я вырасту в бабушку, в тётенку, в чинную дамочку – тифельки-лодочки, – смеяться буду звонко и тоненько... Внучат буду утром водить в ясельки – за тёплые ручки, за малюсенькие... найду себе кучу всяких занятий, а может даже в кого влюблюсь ещё!.. И пусть никто меня не отмолит у этой памяти – я невольница... но, может быть, Боженька мне позволит забыть... забыть тебя и успокоиться.



Небо вытряхнет медленный снег – разлунет, как лист.
Время нас аккуратно разложит по нотному стану,
и склонится над каждым послушать:
«Звучит? не звучит?» –
и мы будем звучать в унисон неустанно,
и выплывем вверх!..
И до самого неба достанем.

И когда я очнусь ото сна в этом странном «нигде»,
совершенно одна в этом космосе и запределье,
мне в глаза хлынет холод и свет,
словно в стылой воде
я качаюсь, как рыба в прозрачной постели,
и тверди мне нет.
Даже окна в дому запотели...



Когда я снова с контуром сольюсь,
Когда мне будет нечего терять,
Я из картины выпадю опять
И тем спасусь...

Когда меня вкопают в этот свод,
Где лишь глазами трогать облака,
Я распадусь на буквы языка
И плоть стечёт...



На часах уже несколько лет половина второго,
На другой стороне океана ты штопаешь тени.
Превращение времени в звук...
Я могла бы попробовать снова
Просыпаться вовне, не пугаясь твоих уточнений.



Подожди, подожди, всё равно я теперь не усну,
Завтра утром война, мы уходим с тобой на войну,
Мы обнимемся крепко, мы станем с тобою снаряд,
Нас с тобою снесут до траншеи и там зарядят...
Будут целиться долго – держи меня крепче, держи, –
Посмотри, как тела не касаются больше души.
Мы с тобою снаряд, нас по первому снегу снесут,
До короткого «пли!» только пара недолгих минут.
Мы теперь никогда не уснём – завтра утром война,
Видишь, цель белым мелом на будущем нанесена.



Утром внимательно смотрю в окно, пытаюсь увидеть хоть какие-то различия, изменения, метки, знаки времени.

Грифельные ветви неподвижны на белом...

Мир замер, словно детская комната с мягкими игрушками на постели. В тот самый миг, когда их чуть не застала врасплох внезапно вернувшаяся маленькая хозяйка.

Сейчас-сейчас... он чем-нибудь себя выдаст. Сейчас он вздохнёт, сменит позу, смежит веки, дрогнет уголком губ...

Но мир пристально глядит в моё окно, не мигая (я хорошо знаю эту игру).

И я вдруг понимаю, что сегодня мы с тобой стали бессмертны.

За ночь невидимые сосудистые хирурги закольцевали наши кровеносные системы в общий круг и пустили по венам фреон.

Наша любовь никогда не состарится! Ты можешь умирать, сколько захочешь. Во мне много жизни, слишком много для меня одной. Ты слышишь, как я живу в тебя? Ты чувствуешь, как тебя становится больше?

Теперь мы носители одного вируса. И мы же друг другу вакцина.

Все умрут, а мы останемся.

Посмотри в окно прямо сейчас. Ты увидишь, как меняется мир.



Так смола стекает из разверстой кожи дерева, так густо втекает небо в мои глаза, так наполняет меня синью и тяжестью.

Так готовится внутри тайное зелье, аква тофана, новый состав крови... неспешно, безмолвно.

Ночь прикладывает к нам стетоскопы, а внутри темнота и тишь. Молчи, молчи, это совсем не больно.

«Я так больше не могу, заверни меня в фольгу...»

В каждой подкожной клетке взрывается маленький атом. Микробиологи сломают себе головы, разглядывая наши изменённые ДНК.

Кто мы будем теперь?

Нежные беспомощные существа, эволюционирующие в неизвестном направлении.

Мы застынем в этой осени, как в янтаре, и сквозь прозрачные мембраны будем наблюдать, как иных неразлучных растаскивают по углам...

Через сотни лет нас извлекут из седьмого неба, уложат срезам под микроскоп и найдут одни только сердечные мышцы. Ничего, кроме сердечных мышц.



Когда придут тебя забрать – в забытьё, в небытие, в прошлое, – будет зима. Самое время лепить снежных деток и приручать зверей с тёплой шерстью. Расстояние между нами – пропасть с детский родничок на темечке – можно потрогать пальцем. Там нет пустоты, там до сих пор всё живое и бескожее. Персональный тренажёр для обострения чувствительности...

Когда придут тебя забрать и вынуть из меня, как вырезают из яблока потемневший фрагмент, широким конусом, почти до сердцевины, я всё стерплю – я долго училась. Но память искусно замечает следы и, боясь оставить лишнее, режёт по живому. Кровь загустеет и не потечёт – она во мне закатана на зиму. Только это и спасает.

Но сейчас, когда листья сухой ветошью выстилают постели в каждом парке, когда ещё можно найти островок травы, в которую упасть – давай займёмся жизнью прямо здесь! Время неумолимо. Возможно, другого шанса у нас не будет... С недавних пор мне стали нравиться счастливые финалы. Но хэппи-энды снова не в моде. Поэтому в конце все умрут. Или что-нибудь ещё...



Пока парит твой голос надо мной, Над каждым днём, над каждой плоской чая, То даже зло меня не замечает, Пока парит твой голос надо мной. И горний мир, и мир подлунный весь Покуда спит, окутанный ветрами, Давай займёмся жизнью прямо здесь! Кто знает, что случится завтра с нами...

Пока парит твой голос надо мной, В моей душе звенит струна живая. И я из горстки пепла оживаю, Пока парит твой голос надо мной. Нас время скоро вытолкнет из тел – Безумный век в счастливый миг спрессован. Ещё полтакта, полстроки, полслова – И ничего! Лишь голос в пустоте...

О, как мы живы этой пустотой... О, как она манит меня и дразнит... И нет суда мне и не будет казни, Пока парит твой голос надо мной. И там, где звуки наполняют высь уже совсем другими именами, где этот город очарован нами, Давай спасёмся. Нам ли не спастись?



И там, где мне уже не стать другой,
на том забытом старом фотоснимке,
я всё ещё машу тебе рукой,
как будто ты и впрямь отсюда видишь
меня другую, ту, где я тобой
всё одиночество своё (как сладким кремом
эклеры наполняют) наполняла,
где каждый вечер я брала билет в твою реальность,
чтоб на фотоснимке
вот так смотреть в тебя из года в год...

Проходит всё, но это не пройдёт.
Я знаю точно – это не проходит.

Как не проходит детская печаль...
Моих родителей осталась половина.
За эту половину я боюсь
и каждый раз ей уступаю место
в партере – пусть внимательно глядит
туда, где я упрямо прорастаю в её потомков,
где из раза в раз не оправданьем, но определеньем
я заполняю трещины в коре
и весь свой сок вгоняю в эту крону.

А тень моя всё бродит по перрону,
совсем в другой истории, совсем...

Совсем в другой истории ты спишь
со мной в обнимку, смерть проходит мимо,
и наша нежность так невыносима,
что просыпаться страшно.

Вопреки
чужим расчётам мы друг друга стоим.
Когда сокрут вокзальные часы,
нас кто-то выдернет из этой странной жизни
одним рывком, нечаянно вдвоём,

и в небо окунёт, как в проявитель,
и мы проступим снимками на нём...



Каждый раз за утренним чаепитием Боженька разворачивает мой мир, как свежую газету – что, мол, там у неё новенького?
А я думаю: несколько бездарных выпусков – и он откажется от подписки.

ПИСЬМА БЕЗ АДРЕСАТА





Мне всё кажется, что наступивший год никем ещё не заселён.

Мои письма возвращаются, опять не застав адресата. Адресат выбыл из этой реальности и обогнал меня почти на целую жизнь.

Тебе больше не запрещают играть со спичками? Везёт...

И как тебе живётся среди этих взрослых?

А я вот с какого-то момента не взрослою.

Отслаиваю куски памяти, откалываю, отрезаю.

Остаётся совсем мало, как у пятилетней девочки.

Божья коровка на пальчике, новые сандалики, скакалка, варёная сгущёнка... полозья саночек на снегу – откинешь голову, замотанная в шарф по самые глаза, а сверху по одной зажигаются звёзды и плывут следом. Надо ли ещё что-то помнить? Надо ли...



Девочку маленькую обними, слёзки ей утри,
У неё что-то мяконькое вырастет внутри –
Трепетная бабочка, меховая мышь, цветок, –
Дай только срок.

А маленьких мальчиков сколько ни обнимай,
Сколько их к сердцу своему ни прижимай,
Ничего внутри у них не разберёшь,
Так и живёшь.



Бабушка ложится засветло и засыпает под телевизор.
Не страшно спать, пока на улице не стемнело. Пока
не стемнело, с тобой ничего не случится. Боженька
бодрствует – не допустит.

Бабушка просыпается среди ночи и больше не ложится.
Умереть во сне страшно.

А пока суетишься на кухне, месишь тесто, протира-
ешь пол, или сидишь себе в очках – гречку перебира-
ешь – что тебе станется?

А нам бы лечь попозже да поспать подольше. У нас
другое время, у нас смерти нет.

Бабушка запивает холодным чаем таблетку и минутку
сидит тихонько, прислушиваясь.

– От чего таблетка, бабушка?

– А от всего, деточка.

– А как называется?

– Да кто ж его знает.

– Помогает, бабушка?

– Помогает, как не помочь!

Время бежит быстро, время расставляет метки и
стирает ненужное.

Летом бабушка начинает готовиться к Рождеству, зи-
мой уже думает о предстоящей Пасхе. Теперь в жи-
зни только два чуда и есть – «Родился» и «Воскрес»!
Родился и воскрес, родился и воскрес... И нет места
для смерти.

Поить внуков молоком с мёдом, сушить мокрые ва-
режки, пришивать пуговицы на пальтишках.

Ещё ничего не знать, но всё предвидеть.

Смотреть на медленный снег за окном... пока под
языком тает таблетка.



Оправдаться за время – тщетно... разбазарила-раздарила... как-то выжила, худо-бедно, где-то слабостью, где-то силой... Что ты, девочка? что за страсти? скоро внуки с небес проглянут... Можно сердце разбить на счастье... можно голову даже, спьяну... Трёхколёсный стоит в подвале (пригодится – бывает всяко) – две бибикалки, две педали... и покрыт, как бывшее, лаком... Только ты всё глядишь в окошко, всё кого-то из ночи манишь... прикрываешь глаза ладошкой, медяками звенишь в кармане... А из ночи – ни зги, ни звука... память тычет ногой в педали... словно пёс тычет носом в руку, чтобы с ним ещё поиграли...



Ты меня переписываешь опять,
По пять раз на дню, исчеркал всего.
Ты хотел, чтоб я вышел тебе под статью,
По по-до-би-ю... но теперь чего?
Каждый раз мне навешиваешь долги:
То любовь, то ненависть, то петлю.
А когда не могу, говоришь «моги!»
А когда не хочу, говоришь «убью!»
Люди думают, что это я такой –
Как дурак кидаюсь то в пух, то в прах.
Я б давно перестал говорить с тобой,
Но ты ставишь галочки на полях –
Сочиняешь мне то врага, то дочь,
То больничную койку, а то плацкарт.
Всё пытаешься как-нибудь мне помочь,
И похоже, что даже вошёл в азарт...

Посмотри, ну какой из меня герой?
Я тебе всю статистику заваю!
Но ты так мне веришь, что чёрт с тобой,
Переписывай – потерплю.



Где в песне ветра – отрицанье смерти,
Уже душа прозрачна и легка,
Ещё стоишь, как продолженье тверди,
Но прямо сквозь тебя течёт река.

Ещё шиваешь мир с изнанкой слова,
Не ожидая ничего взамен,
Ещё не отнят у всего живого –
Уже разъят на космос и на тлен.

Уже разъят на жизнь и на иное
И разделён на музыку и тишь,
Где каждый звук отточен и отстроен,
Где ты вот-вот с Господних уст слетишь.



Да брось ты, что ты?.. какие песни?.. примёрзли к небу
и – никуда. А добрый Боженька смотрит с лестницы и
отсчитывает года... А добрый Боженька в тёплых тап-
ках (зима – она ведь везде зима)... Я снова путаюсь в
прежних датах и засыпаю в чужих домах... и возвра-
щаюсь опять под утро, чужая, пьяная, без ключей... но
обещаю, что буду мудрой, что буду правильной и тво-
ей... и что, мол, птицу полёт не портит... что сердце
стерпит, а Бог простит... А добрый Боженька просто
смотрит... и ничего мне не говорит.



А Бог нас покупает пачками, как валидол
(ему нас без рецепта отпускают),
по одному выдавливая на ладонь
и под язык кладёт, и ждёт.
Не помогает...



Замыслив себя, как некое творение богов,
связываю всё в последовательность, а на деле –
каждое утро, с трудом вывалившись из снов,
пытаюсь заново обжиться в собственном теле.



И всё пространство заштрихует дождь,
Но ветер, словно пастырь, лаконичен,
И ты ему внимаешь так по-птичь,и,
Что даже воздух пробивает дрожь.

Истоки рек, впадающих в ладонь,
Рождаются у самого порога.
И проступают очертанья Бога,
Лишь только пустоту рукою тронь...



Юго-западный ветер ночью пересёк границу моего двора.
Я сижу у окна и подозреваю птиц.
Смолкли, затаились... серые на рыжем, чёрные на
жёлтом, похожие на иероглифы, на обрывки ткани.
Блестят насмешливыми глазами. Думают, что будут
жить вечно.
В который раз открываю чистую страницу, испыты-
вая жадность до этой белизны, и закрываю, не тронув.

Дворники нынче ленивы, вовсе носа не кажут. Сами,
мол, сами... делайте что хотите.
Листья высыпаются прямо из неба, словно чешуя
большой заоблачной рыбы.
Маленькие дети пока избавлены от осенних депрес-
сий. Им не жарко и не холодно. Им интересно. Им
хорошо. Им всё можно – если не сейчас, то в гипоте-
тическом будущем уж точно.
Первое таинство сбора каштанов, как первое прича-
стие. Зажать в ладошке коричневое сердце осени...

Жизнь уже не начать с понедельника. Время внутри
меня отменили. Вглядываюсь в зеркало, пытаюсь сни-
скать собственное расположение.
По утрам всё сложнее выстроить в сознании карти-
ну вчерашнего мира, но душа по-прежнему так бес-
страшно отдаётся телу...
Если заглянуть в меня, там давно уже идёт снег.



Лечь впервые с мужчиной в постель (не впервые с мужчиной вообще, а впервые с этим конкретным), чтобы спать.

Лечь в постель, чтобы просто спать (это очень важно), чтобы проснуться рядом (это очень важно).

И тогда становится понятно практически всё. Тогда остальное – уже нюансы.

Постель, как новый космос, как особая территория доверия. Мужчины нетерпеливы, мужчины легковозбудимы, они сиюминутны, склонны к причинно-следственным связям и часто занудны в своих аргументах.

Они торопливы в желании получить всё здесь и сейчас, особенно если «почему бы не», если «всё один к одному»...

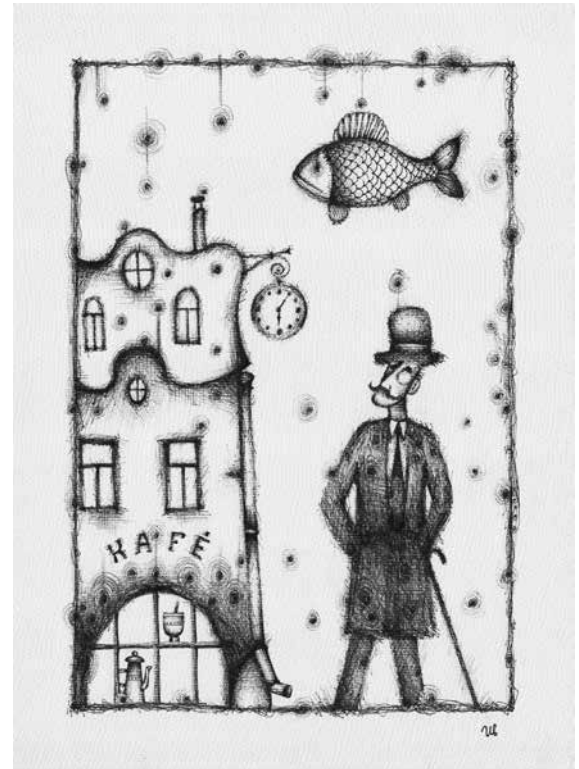
Нет, нет.

Просто спать.

Различать пульсацию невидимых оболочек, вплетаясь друг в друга одним лишь дыханием. Ещё ничего не знать, но уже обо всём догадаться. На грани сна и яви понять, что он рядом (это очень важно), почувствовать себя в безопасности (это очень важно).

Просто спать.

Проснуться рядом с мужчиной... застать короткий момент незащитно-детского выражения лица... и навсегда запомнить, кто там внутри.





Она любила маленькие вещи:
Ключи, булавки, трещинки в стене, –
Теряла вечно тонкое пенсне,
которое носила по привычке.
И по ночам ей чудился зловещий
Скрип половиц, и даже скрип отмычки,
Как будто память силится вернуться,
Как будто снова полон дом своих...
Она журила старых домовых
И оставляла им конфет на блюще.

Вздыхала кошка, сидя на полу,
И наблюдала за священнодействием
Вдеванья нитки в тонкую иглу.
А за стеной жило чужое детство –
Смеялось, пело, не умело ждать,
Хотело только топтать и играть,
Изыскивая поводы и средства...
И это беспокойное соседство
Её пугало, не давая спать.

Она любила чистую постель,
Проснуться и лежать подолгу утром,
Вычёркивая из себя минуты,
Тревожный сон сгоняя, словно хмель.
И размышляла про себя: «Ужель
Вот так и смерть подступит незаметно
И унесёт, как домовую конфету?»
И говорила кошке: «Боже мой,
А ты сидишь и не подозреваешь...»

И детский голос спросит за стеной:
– А кто живёт там, мама? ты не знаешь?
И мама скажет: «Верно, домовый...
Давай скорее, в школу опоздаешь!»



Когда утром я надеваю синее платье – я немая Дора.
Я иду через двор, киваю дворнику, перепрыгиваю через лужу у ворот.

В синем платье я Дора-почтальонка. Я несу большую сумку и пою песни в своей голове.

Мне не нужно нигде останавливаться надолго, чтобы поболтать.

Когда днём я надеваю белое платье – я весёлая танцовщица Дотти.

Я хожу в балетную школу и тяну носок у станка.

Мне нравится, как шуршат крахмальные пачки.

Я немая Дотти, но я не глухая. Я слышу, как шепчутся за моей спиной, и тяну носок ещё сильнее.

Когда вечером я надеваю красное платье – я малышка Додо.

Я любовница директора балетной школы, старого развратника Джулио. Немая счастливица Додо, засыпанная цветами и подарками.

И даже жена Джулио относится ко мне с пониманием. Быть немой в красном платье – горше всего.

Когда ночью я надеваю чёрное платье – я просто немая Долорес.

Я мелю крупные зёрна арабики и варю кофе. Чёрный, как твои глаза, горький, как моя любовь.

Я сажусь писать тебе письма и беззвучно плачу.

Я пишу тебе обо всём, о чём молчала за день: о Доре в синем... о Дотти в белом... о Додо в красном...

Я кричу, как большая рыба, и, заламывая плавники, уплываю к утру в немые сны.

Завтра я пойду и куплю себе жёлтое платье, радостное жёлтое платье!

Я надену его и отправлю тебе все письма сразу.

Целый отряд почтальонов с огромными сумками постучит в твою дверь.

Ты будешь читать долго-долго, перебирая буквы, как зёрна арабики...

И если в конце концов ты не онемеешь, значит, нет справедливости на свете.



Он звонит ей и говорит, что не мог, что, мол, куча дел,
Что сегодня он очень старался
и, естественно, очень хотел!
Но проблемы висят, как петли:
ту обкусишь – другая торчит.
Виноват, говорит, конечно,
но был занят, болен, разбит...
А она молчит.

А она понимает, что снова – к чёрту ужин,
хоть прибран дом,
Что любовь, по большому счёту, у неё совсем не о том,
Что в какой-то момент не важно, у кого вторые ключи,
Если все – инвалиды любви, если каждого надо лечить.
И она молчит.

А он думает, всё, мол, в порядке –
без истерик, значит, сойдёт.
Говорит, что на этой неделе
он зайдёт, непременно зайдёт...
Так недели, месяцы, годы время складывает в кирпичи,
Сердце рвётся, любовь остаётся.
И её отступают врачи.
А она молчит...



Этому впрямь могло быть тысячи разных причин –
она звонила ему так же часто, как прежде.
После него она знала добрый десяток мужчин.
– Не любовь,
так хотя бы ревность, – думал он с надеждой.

Думал с надеждой, поскольку это был верный знак:
женщина – либо собственница, либо ушёл и забыто.
Эта была такая: отслеживала каждый шаг,
брала на карандаш, и даже довольно открыто

учила жить, примеряла к себе на предмет жилетки,
ничего такого, но просто иногда поболтать...
Их встречи были почти случайны и очень редки,
и сколько всё это длилось, он бы не мог сказать.

Он бы не мог, у него под лопаткою так же ныло
от её голоса, словно нет музыки слаще.
Он по ночам изводил коньяк, бумагу, чернила,
он считал себя самым никчемным, самым пропащим.

А потом она уехала далеко, на другой континент,
то ли вышла замуж, то ли что-то такое.
Он сперва горевал, конечно, но в какой-то момент
стал совершенно счастливым и абсолютно спокоен.

Он влюбился, женился, стал отцом и всякое прочее,
он готов был поклясться, что забудет, что хватит силы...
Но до сих пор иногда просыпается посреди ночи
и думает: «Господи, только бы не позвонила!..»



Она ему была как выстрел в темя,
Как инсталляция спинного мозга...
«Смотри, со мною происходит время,
Я истекаю вечностью, как воском,
Я весь тобой, как кожей зарастаю.
Любви такой замысловатый способ –
Я ничего безумнее не знаю».
Она ему была как наважденье,
И вся росла в него как метастазы.
Презрев инстинкты самосохраненья,
Он так не умирал ещё ни разу.

За эту смелость время их запомнит,
Но чёрта с два оно их пощадит.
Она всё чертит на его ладони:
«Происходи со мной... происходи...»



«Отзовись, – говорит она, – Марк! –
и всё смотрит на воду. –
Если ты вот сейчас не всплывёшь,
я пошлю тебя к лешему!»
Деревенские дети обходят её – то тропую, то бродом.
Так их мамки велят – ведь она же почти сумасшедшая.

И приходит на берег, и шепчет какие-то бредни.
Старики головами качают: «Ах, бедная, бедная...»

«Слышишь, Марк, наша девочка выросла, учится в городе.
Её хвалят, она занимается оперным пением.
У неё с каждым разом всё меньше и меньше поводов
Навещать меня здесь. И на всё – своё личное мнение».

Всё зовёт, всё стенает, всё машет рукою кому-то.
Словно рябь по воде, пробегают пустые минуты.

«Марк, послушай меня. Наша дочь собирается замуж.
Кто её поведёт к алтарю, если ты не вернёшься?» –
Постоит, подождёт, бросит в воду глубокую камушек,
И всё кажется ей, будто голос оттуда донёсся...

И вплетает в белёсые волосы алую ленточку,
И всё ждёт неизвестно откуда прощальную весточку.

«Здравствуй, Марк.

В нашем доме сегодня не мыто, не прибрано.
Что мне делать, скажи? Наших внуков увозят в Америку!
Я туда не хочу, я умру там... и где это видано,
Чтоб оставить тебя одного тут, у этого берега».

«Боже правый, прости!» – говорит, а сама раздевается,
И вода обнимает её... и она, наконец, улыбается...



Ты когда меня качаешь, мне нравится. Только не мычи, лучше уж пой, не мычи.
Все говорят: «Дура, дурочка!»
Ты улыбайся, правильно.
Что они знают, что понимают?.. Ты идёшь-идёшь да и сядешь. Руки скрестишь колыбелькой и качаешь меня, качаешь.
Руки у тебя тёплые, хоть ноги босые.
Дети тебя боятся, за мамкины юбки прячутся. Кто посмелее, пальчиком тычут и кривляются. А мамки им: «Не смотри, не смотри! Спать плохо будешь!»
А спят они хорошо, покойно... что им станется?

Ты качай меня, качай, мне нравится.
Ты к лицу моему наклоняешься, волосы спутанные лоб мне щекочут. Ты глубоко в меня глядишь, до самого дна. Лучше уж мычи, не смотри в меня, не надо.
Днём тепло, ночью сыро – дело к лету.
Мы с тобой найдём свою воду, много воды. Ты войдёшь по щиколотку, потом по колено, по пояс, по грудь... ку-нать будешь меня нежно... да обратно не выйдешь.
А и выйдешь – не беда. Времени у нас много.

Ты качай меня, качай. Отдохни и снова качай.
Скоро ляжет снег, но ты не бойся. Ты меня прижимай к себе покрепче, не замёрзнешь.
Все говорят: «Дурочка, дура бесноватая!»
Что нам до них? Улыбайся, правильно.
Ты одна только меня видишь, деточку свою... одна меня лелеешь, одна обо мне знаешь. Уж я тебя не оставлю.

Снег будет нам подмогой.
Мы с тобой найдём свой сон, прекрасный бесконечный сон. Ты войдёшь по щиколотку, потом по колено, по пояс, по грудь... Из такого сна не выходят дважды.
Я вынесу тебя по ту сторону времени, я научу тебя всем песням. И буду качать тебя, качать, к лицу наклоняться...
Улыбайся, дурочка, тебе понравится...



Мама, мама, не ходи к Густаву. У него тонкие пальцы и воловь глаза. У него густой голос и прозрачный смех. У него капкан, а не сердце...

Не ходи к Густаву, мама. У него три жены и тридцать три невесты. Все они теперь бледны и малахольны. Все они стелются патокой ему под ноги... Густав говорит: «Девочка моя сладкая». Густав говорит: «Лада моя ненаглядная». Не ходи к Густаву, мама, он целует в самую душу...

Пойди на базар, мама, пусть все смотрят на твоё новое платье. Пусть все слушают твою звонкую песню. Купи помидоров и винограда. Заплети свою косу. Не ходи к Густаву...

Его глаза вынут из тебя душу, его губы вынут дыхание, его голос вынет силы, его чресла вынут из тебя жизнь... Не ходи к Густаву, мама... Я сама...



Она любит запах новой мелованной бумаги,
Чистит зубы пастой цвета французского флага,
У неё в серванте – три набора хрустальных бокалов,
Сколько бы ни купила спичек, всегда оказывается мало,
У неё в холодильнике –

банка засахаренной намертво вишни,
Она ждёт писем от тех, кто ей никогда уже не напишет,
Она греет руки, пряча их между своих коленок,
Ей хотелось бы спальню с зеркалом во всю стену,
И ещё хотелось бы летней грозы с раскатами грома,
Чтобы сидеть маленькой на лавочке у бабушкиного дома,
Болтать ногами, откусывать от пирога со сливой
И чувствовать себя счастливой,

совершенно счастливой...



Он говорит: «Только давай не будем сейчас о ней,
Просто не будем о ней ни слова, ни строчки.
Пусть она просто камень в саду камней,
И ничего, что тянет и ноет других сильней,
Словно то камень и в сердце, и в голове, и в почке».

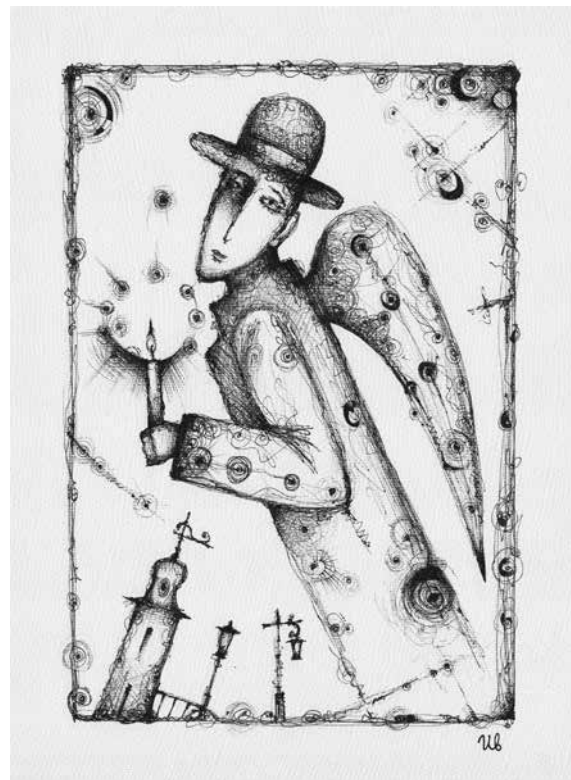
Он говорит: «Мне без неё даже лучше теперь – смотри.
Это же столько крови ушло бы и столько силы,
Это же вечно взрываться на раз-два-три,
А у меня уже просто вымерзло всё внутри.
Да на неё никакой бы жизни, знаешь ли, не хватило».

Он говорит: «Я стар, мне достаточно было других,
Пусть теперь кто-то ещё каждый раз умирает
От этой дурацкой чёлки, от этих коленок худых,
От этого взгляда её, бьющего прямо под дых...»
И, задыхаясь от нежности, он вдруг лицо закрывает.



И путешествуя уже каждый в своей реальности,
узнавая друг друга уже только в бреду, во сне... только
на тех срезах эмоций, где либо усталость, либо щемя-
щая боль по несбывшемуся... неизменный свет, где-то
на периферии сознания, в отпечатках касаний, смы-
тых с кожи килограммами мыла и литрами ацетона...
тот свет, который не горний, не впереди над гори-
зонтом, а сзади, в спину, в затылок, вдогонку из про-
шлого... И удар в спину почти невозможен именно
оттого, что свет этот есть, наверняка и безусловно,
свет-броня, свет-позвоночник. И, за неимением дру-
гих возможностей и заслуг, есть надежда, что в кон-
це он станет единственным оправданием и гаранти-
ей перехода... и именно из него на лопатках прора-
стут узорные крылья, с которыми, если не взмыть, то
подняться-то уж точно...

ПИСЬМА К ТЭЙМИ





Время похоже на почтальона.
Оно бродит за нами, запечатывает наше прожитое
в конверты и отправляет нам в будущее.
Я не молюсь за тебя, нет. Я просто тебя помню.
Я просто каждый раз вписываю твоё имя в титры.
Напрасный труд.
Но, возможно, потом, в конце, когда ты будешь сто-
ять в ожидании последней участи... кто-то там, на-
верху, перебирая даты, картинки и списки, подумает:
«Знакомое какое-то имя... Где-то я его видел...»
И крикнет сверху:
– Пропустите!

письмо первое

Что ты знаешь, Тэйми, о других, не таких, как мы,
у которых ни трещины нет в середине кормы,
у которых тела упруги, рубашки заправленные в штаны,
и всегда заточены сабли, и курки всегда взведены,
и ни капли чувства вины.

Как друг друга они целуют, Тэйми, и зубы у них блестят,
они делают даже не то, что могут, а только то, что хотят,
как идёт им любой цвет и всякий наряд,
как их матери гладят им брюки,
а они изнывают от скуки и вечно на чём-то торчат,
как отцы их молчат.

Знаешь, Тэйми, как их женщины жарки и как легки,
как похожи они на тех, о которых ты пишешь стихи,
но внутри у них что-то такое, что лучше тебе не знать,
и наутро у них на лбу проступают грехи,
и они накладывают мэйк-ап
каждый раз, как только покинут кровать.

Если бы, Тэйми, они были такие же точно, как я и ты,
их бы каждая тварь узнавала за три версты,
и за ними бы волочилась до самых ворот,
и заглядывала бы им в глаза и смотрела в рот,
потому что легко отхватить от чужих щедрот,
когда мясо с изнанки и прямо вот...

Но к чему эти тонкости, если они вокруг
беззаботно спят, не разнимая рук,
голоса их хмельны, и податлива плоть у подруг,
и пускай они реагируют уже не на смысл, а на звук,
но у них не бывает никакого «вдруг»...

И ты думаешь, Тэйми, что мы их переживём,
потому что мы верим и знаем, куда идём,
потому что любовь мы из каждой строки наскребём...

Но ты знаешь, Тэйми, несправедливость вся в том,
что они изнутри сияют точно таким же огнём,
как и мы, когда любят друг друга...
И мы никогда не поймём,
как у них получилось не выпасть из круга.

письмо второе

Кто мы, Тэйми, скажи, как нам себя назвать –
каждый раз, как в последний, лежащие в кровати?
Не научены ничему, кроме петь, писать и страдать,
и разматывать сердце, как пластырь,
чтобы вечно кого-то латать.

Мы не лекари и не пекари... мы даже не рыбаки.
Но порой нас вскрывает так, что свет пробивает кишки.
Тяжелы наши мысли, слёзы легки.
Отчего же нам плачется, Тэйми, какая у нас беда?
Просто стыдно признаться,
как взрослым нам хочется иногда,
чтобы мама и папа любили нас маленьких, там и тогда...
Ладно, не думай об этом... так, ерунда.

Ты замечаешь, Тэйми, как ночью
взывают над городом наши дома
и летят всё выше и выше? И можно сойти с ума,
понимая, что утром с нами случится не небо,
не космос, а та же тюрьма,
и мы сходим с ума,
но привычно выходим опять из своих квартир
и идём покупать хлеб и кефир.

Из своих персональных пустынь
шлём друг другу скупые звонки,
из двухкомнатных поднебесий,
из чумы, из пурги, из цинги –
мы всё тянем незримые нити,
словно пальцы одной руки,
но по-прежнему так далеки...

Всё, за что нас полюбят, Тэйми,
не сейчас, а когда-то потом,
мы уместим в одной тетради всё целиком.
Если нам повезёт, наша музыка останется под потолком
колдовать, вынимая душу.
Посмотри, я ведь тоже трушу.
Но это же вовсе не повод молчать о чём-то таком...

Кто мы, Тэйми, скажи, если дарим
то смерть, то любовь, то грусть, –
я смотрю на нас, слушаю, трогаю, и не разберусь.
Всё окажется просто однажды –
я взлечу и на звонкие нити порвусь,
и рассыплюсь по небу, как ты.
Ну и пусть, моя радость... и пусть, пусть...

письмо третье

Слушай, слушай, это же глупо –
вот так надраться, чтоб всё посметь.
С вечера в сердце мерцает золото,
утром в башке звенит только медь.
Если вечно с изнанки поет,
а с лицевой ещё можно терпеть –
это не жизнь, Тэйми, это такая смерть.

Просто однажды от нас уезжают,
уходят, и с кем-то живут далеко
самые наши любимые –
падают в прошлое, как в молоко.
И больше оттуда ни звука,
ни строчки, ни слова – вообще ничего!
Ты живёшь потом,
а в тебе дыра – величиной с тебя самого.
Иногда ты в неё смотришь и думаешь: «Ого!..»

Слушай, Тэйми, ведь мы потому так легко
проживаем друг друга насквозь,
что ныряем потом в эти дыры
и думаем: «Ладно, опять не срослось».
Не срослось, понимаешь...
А в сущности, что там срастётся, что?
Если мы изнутри прострелены
в три обоймы, как решето.

Небеса нависают над нами,
как анестезиологи, как врачи,
Хочешь – плачь, или пой, или смейся,
хочешь – стиснув зубы, молчи.
Нас сошьют патефонными иглами,
в нас проденут такие лучи,
Что за этой тонкой материей
мир подмены не различит.

Ампутация прошлого, Тэйми, ампутация и – культя...
Знаешь, что самое странное?.. Что нас и таких хотят.
Золотые, бесценные люди
к нам приходят, стучатся, звонят.
К нам бредут, как по минному полю,
тянут руки сквозь наши печали
к нам – холодным, пустынным, выжженным...

Ну давай мы с тобой выживем!
Нас почти уже залатали.

письмо четвертое

В это узкое горло, Тэйми,
из этих тонких ладоней вливался свет,
как потом получилось, что всё вдруг сошло на нет?
Пела подруга о дудочке из тростника –
я плакала и умирала.
Эта песенка без конца и начала –
вынула всю душу, выдула тонким телом, и душа упала.
Я купила такую же дудочку –
девочку, тростниковую палочку.
Я целую её, как родную, лелею и пестую.
Тишина по дому ходит вразвалочку,
обживает квартиру, чужая, не местная.
Да и мы с дудочкой, Тэйми, та ещё парочка...

Нам давно не завозят музыки,
только память о ней – в пальцах и на губах.
Кто-то вновь напивается, чтобы поплакать
и выкричать весь свой страх.
А такие, как ты, Тэйми, маршируют с лентами в волосах,
со своим пластилиновым войском,
заливают трещины воском на своей невесомой лодке,
и плывут по реке, посередке, по кайме голубой,
по густому небесному соку,
и они обязательно к сроку
причальят домой.

Здесь внизу всё не так –
мою спальню штормит и качает пустую кровать,
у меня не хватает музыки,
посмотри, мне нечем тебя обнять.
Если слово пребудет во мне,
то пусть это будет лишь звук.
Потому что нам больше не нужно, Тэйми,
ни глаз, ни коленей, ни рук.
О, смертельнейшая из мук!..

Мы готовы к ответу, мы так обустроили быт,
что нам незачем быть здесь.
Нам здесь больше незачем быть.
И трёхмерной любовью никак это не оправдать.
Если не на чем плыть,
я к чертям разломаю на доски кровать,
я возьму эту дудочку, девочку, тросточку –
и пережму ей рот!
В мои лёгкие хлынет музыка,
всю меня вглубь протечёт.
И одной этой дудочки мне бы хватило сполна...
Но если ты её хочешь, Тэйми, то на!

письмо пятое

Ну и всё, говорю я, и всё...
Мы стоим, как два истукана,
время накрывает нас с головой,
выплёскивает за край экрана,
и это так удивительно, Тэйми, это так странно.

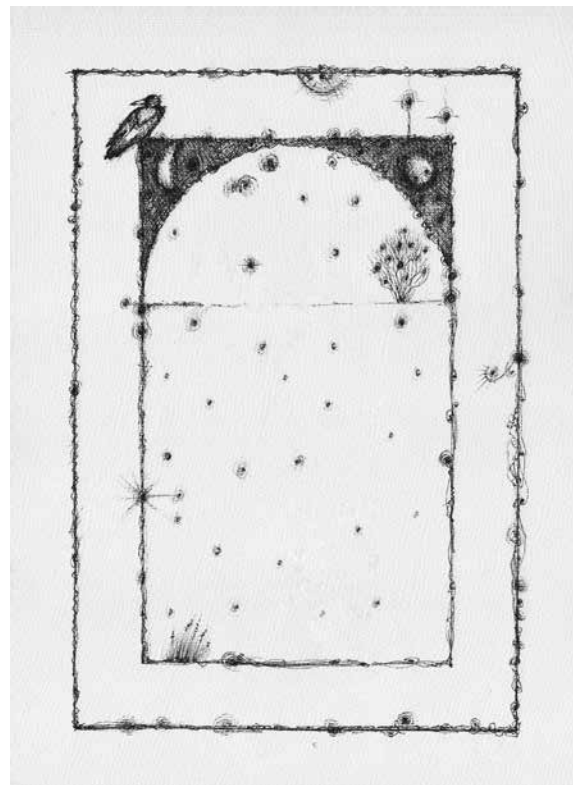
Случилось всё то, чего мы боялись – и ладно, и слава Богу.
Кто же знал, что Вечность нельзя откусывать так помногу,
это чревато побочными эффектами –
с Вечностью нельзя, как с шоколадными конфетами.
И когда мы думали, что становимся поэтами,
нас просто начинали словами, как нугой и патокой,
и каждый думал: «Господи, это же я такой!» –
и взмахивал рукой.
А сам был даже не тестом, Тэйми, а только мукой...

А получится, знаешь, как? Вот смотри:
сперва один из нас выйдет на улицу, и у него внутри
оборвётся что-то – не знаю,
тромб, струна, чека... или что там внутри бывает?
А мимо будут ехать красивые, вымытые трамваи
с рекламой какого-нибудь сока, например, или чая,
и один из нас будет лежать в снегу,
холодея взглядом,
ни рекламы, ни трамваев этих не замечая.
И тогда второй из нас выйдет, и ляжет рядом...

Что же ты плачешь, Тэйми?
Ну, хочешь, не будем об этом.
Просто купим себе глобус –
совершенно новенькую планету,
сядем в ракету и взлетим со скоростью света.
Никаких приборов, никаких билетов.

Ну, потому что – всё уже, говорю, всё.
Я больше не могу.
Посмотри в окно, кто это там лежит в снегу?
Кого это там впечатало в хлябь,
холодом выгнуло в дугу?
Если это не я, Тэйми, то это ты –
и, значит, я побегу!..
Но мы стоим, как два истукана,
время накрывает нас с головой,
выплёскивает за край экрана,
и это так удивительно, Тэйми, это так странно.

НЕНАПИСАННЫЕ ПИСЬМА



СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЩАЛЬНЫЕ ПИСЬМА	5
«Ведь казалось, что всё преодолимо, всё достигаемо...»	7
«Юзек просыпается среди ночи...»	8
«Не возвращайся, теперь уже больше не нужно...»	9
«Он так долго меня покидал, что казалось порою...»	10
«Ты думал, я справлюсь...»	12
«Будь, говорит, со мной, будь и не отпускай...»	13
«Я смотрю, как этот август медленно вплетают в нашу осень...»	14
«Когда по-осеннему пахнут дожди...»	15
«За то время, что тебя нет...»	16
«— Ну останься, — говорит он, — останься...»	17
«Когда декабрь возьмёт меня к себе...»	18
НЕОТПРАВЛЕННЫЕ ПИСЬМА	19
«Теперь, когда мы покинули большой город...»	21
«Мне не пишется чего-то, не поётся...»	22
«Мне на самом-то деле плевать, что ты давно не звонишь...»	23
«В этих красных камнях море вылезало норы...»	24
«Нас никто уже так не полюбит...»	25
«Когда я представляю тебя...»	26
«Всё линяет, теряет краски, сходит на нет...»	27
«Нет ничего особенного в том, что жизнь твоя без меня мыслима...»	28
«Когда ты был по ту сторону моря...»	29
«На моём плече покоится твоя голова...»	30
«Посмотри, я ни пряник испечь, ни огонь развести...»	31
«Сышишь, папа, как годы идут насмарку, я боюсь их...»	32
ГРУСТНЫЕ ПИСЬМА	33
«Повезу тебя на саночках, на саночках...»	35
«Крошка Мадлен, не плачь...»	36
«Мне вдруг очень захотелось вернуться в то время...»	37
«Как дурные вести... захлебнуться вдохом — не сказать...»	38
«Агнешка живёт в квартирке под самой крышей...»	39
«Ребёнок внутри меня, мой внутренний ребёнок...»	40
«Если кому не спится, так это Насте...»	41
«Пам надевает смешной мешковатый свитер...»	42
«Дядя Вася играет на аккордеоне...»	43
«Что мы понимаем друг о друге?..»	44
«Бобби, твой сын никогда не пойдёт на войну...»	46
«Это Ляля несёт впереди себя свой живот...»	47
«В иные дни одиночество ощущается так остро...»	48
ПИСЬМА В ПРОШЛОЕ	49
«В том прошлом, которое я прекрасно помню...»	51
«Ёлка, сочельник, метель метёт...»	52
«Была как стебель, упрямый, тоненький...»	53
«Иные воспоминания затвердевают в памяти...»	54
«Прошлые связи липнут к памяти, как проказа...»	55
«Он приходил ко мне, плакал, клал голову мне на грудь...»	56
«В Риме под Новый год не бывает снега...»	57
«Я не люблю римское метро...»	58
«Время выбирает опцию «сепия», потом «ч/б»...»	60
«А если можно как-нибудь вернуться...»	61
«Ещё в то время, когда мне хотелось славы и признания...»	62
«Один всё подтрунивал надо мной...»	63
«Нас учили с тобой потихонечку сшивать сердце...»	64
ПИСЬМА В БУДУЩЕЕ	65
«В какой-то момент вдруг застаёшь себя в странном месте...»	67
«И из всех живучих моих сестёр...»	68
«Когда я вырасту — большая, красивая...»	69
«Небо вытряхнет медленный снег — разинует, как лист...»	70
«Когда я снова с контуром сольюсь...»	71
«На часах уже несколько лет половина второго...»	72
«Подожди, подожди, всё равно я теперь не усну...»	73
«Утром внимательно смотрю в окно...»	74
«Так смола стекает из разверстой кожи дерева...»	75
«Когда придут тебя забрать — в забытё, в небытё, в прошлое...»	76
«Пока парит твой голос надо мной...»	77
«И там, где мне уже не стать другой...»	78
«Каждый раз за утренним чаепитием...»	80
ПИСЬМА БЕЗ АДРЕСАТА	81
«Мне всё кажется, что наступивший год никем ещё не заселён...»	83
«Девочку маленькую обними, съёжи ей утри...»	84
«Бабушка ложится засветло и засыпает под телевизор...»	85
«Оправдаться за время — шеттно... разбазарила-раздарила...»	86
«Ты меня переписываешь опять...»	87
«Где в песне ветра — отрицанье смерти...»	88
«Да брось ты, что ты!.. какие песни!..»	89
«А Бог нас покупает пачками, как валидол...»	89
«Замыслив себя, как некое творение богов...»	90
«И всё пространство заштрихует дождь...»	90
«Юго-западный ветер ночью пересёк границу моего двора...»	91
«Лечь впервые с мужчиной в постель...»	92
ЧУЖИЕ ПИСЬМА	93
«Она любила маленькие вещи...»	95
«Когда утром я надеваю синее платье — я немая Дора...»	96
«Он звонит ей и говорит, что не мог, что, мол, куча дел...»	98
«Этому впрямь могло быть тысячи разных причин...»	99
«Она ему была как выстрел в темноту...»	100
«Отзовись, — говорит она, — Марк! — и всё смотрит на воду...»	101
«Ты когда меня качаешь, мне нравится...»	102
«Мама, мама, не ходи к Густаву...»	104
«Она любит запах новой мелованной бумаги...»	105
«Он говорит: «Только давай не будем сейчас о ней...»	106
«И путешествуя уже каждый в своей реальности...»	107
ПИСЬМА К ТЭЙМН	109
«Время похоже на почтальона...»	111
Письмо первое	112
Письмо второе	114
Письмо третье	116
Письмо четвертое	118
Письмо пятое	120
НЕНАПИСАННЫЕ ПИСЬМА	123

Літературно-художнє видання

Касьян Елена

До востребования

стихи

(російською мовою)

Гол. редактор Малюга І.С.

Літературно-художній редактор: Решко Ю.М.

Технічний редактор Донченко О.В.

Оформлення та верстка Донченко О.В.

Здано в набір 1.12.2009. Підписано до друку 25.01.2010.

Формат 60x90/₃₂. Папір офсетн. Гарн. ДжиллСанс.

Ум.друк.арк. 4,43. Тираж 1000 прим. Зам. № 223

Видавництво ТзОВ «Ахіл»

79071, Україна, м. Львів-71, а/с № 4245

ahill@is.lviv.ua

Віддр. в ТзОВ «Папуга»

м. Львів

ЕЛЕНА КАСЬЯН
ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ



livermore – **Любовь Воронцова**, поэт, продюсер

Лена – точнейший лирик, талантливо, универсально. Пристальная – она вкладывается в наш мир с огромной нежностью и передаёт нам все его неуловимые оттенки с огромной любовью.

uzerefed_volley – **Александр Волков**, журналист

Хуже всего ей удаётся оставить людей равнодушными. Она – коточка к сердцу: мягкая, уютная. Она – струя: прогонительная, шемидная... Прикасаться, не обрывая, чтобы было хорошо и легко. Да свез...

top_saint – **Ольга Успенская**, физик, психолог, академик

Можно до бесконечности препарировать эти тексты, и всё равно никогда не понять, в чём тут «фокус». Потому что его нет. Есть Дар внутреннего переживания Души, светлая нота, по которой заново отстраиваются сердца.

56_hach – **Ольга Лучина**, Deputy CFO, фен

Разглядывая зыбкие, чувственные миры автора, вдруг оказываешься на дальних задворках своей души, по плак в миазме тумана восточнаний. В этой книге – лекарство для тех, кто разучился видеть нежность и искренность за шерной суеты и общности.

mikeshich – **Кристина Михалочка**, музыкальный продюсер

Когда талант просвечивает сквозь «обычный» земной текст, заставляя ваше сердце стучать новей, а глаза увлажняться, значит, вы встретились с искусством.

swal_sw – **Полина Гребенюк**, пианист, член Союза писателей Украины

Поразительная коллоидальность этих стихов, их удивительная музыкальность, где каждая змея подобна ноте на партитуре. Их звучание превращает книгу в прекрасную симфонию.

<http://pristalnaya.livejournal.com>

ISBN 978-996-357-01-50



9 789966 3570150 >